

18+

Лев Усыскин
Красная лампа

рассказы
и повести



Лев УсЫСКИН

**Красная лампа.
рассказы и повести**

«Издательские решения»

Усыскин Л. Б.

Красная лампа. рассказы и повести / Л. Б. Усыскин —
«Издательские решения»,

В новом сборнике Льва Усыскина собраны рассказы и короткие повести, объединенные сентиментальным началом. Это истории взросления, истории осознания привязанностей, понимания себя во времени — историческом и личном. Автор следует классической, можно сказать, толстовской традиции русской прозы, уделяя особое внимание раскрытию психологических мотиваций персонажей, а также точности описаний артефактов и ситуаций как прошлого, так и настоящего.

© Усыскин Л. Б.

© Издательские решения

Содержание

МАРКИ	6
КРАСНАЯ ЛАМПА	15
СЕСТРА	20
ДЛИННЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ДЕТСТВА	27
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Красная лампа рассказы и повести

Лев Борисович Усыкин

© Лев Борисович Усыкин, 2026

ISBN 978-5-0070-9025-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

МАРКИ

Почтовые марки в моем детстве собирали все. Кажется, не было тогда мальчика, который не отдал бы этому увлечению толику своего времени, когда — небольшую, а когда — затянувшуюся на годы.

Разумеется, таковое поветрие не обошло стороной и меня тоже — и где-то в недрах родительской квартиры до сих пор покоятся эти шесть или семь альбомов большого формата, толстые страницы которых, проложенные папиросной бумагой, заполнены безмолвными рядами зубчатых разноцветных прямоугольничков.

Подумать только: от детских моих игрушек не осталось и следа, исчезли куда-то тогдашние книжки, все до одной, даже обои в комнате переклеивали потом два или три раза — а эти вот свидетели моих школьных лет целы и невредимы, и словно бы ждут чего-то, надеются на что-то такое, чего, я знаю, не будет точно, хранят ради этого, не подвергаясь выцветанию, яркость своих красок и чистоту тонких линий гознаковской графики — словно бы бесполезный, холостой праздник, салют в пустыне, бал, где играет музыка, но куда не допущены танцующие пары.

Или лучше сказать — они и поныне живут в своем собственном мире, диковинном секретном пространстве других измерений, где всё так же скачут антилопы африканских саванн, разводят крылья немислимых узоров бабочки, и анилиновые орхидеи неутомимо соревнуются друг с другом эротическими изгибами своих обводов (вы, таким образом, видите, что большая часть моей коллекции соответствовала теме «флора и фауна», своей популярностью в те времена уступавшей, по неведомой никому причине, лишь разряду «знаменитые люди», куда обычно сваливали всё подряд и где большинство стаффажа составляли страшномордые революционеры, какие-нибудь деятели международного профсоюзного движения, великие основатели литератур бесписьменных народов и прочий подобный номенклатурно-человеческий шлак. Впрочем, я-то к этой форме идолопоклонства был вполне равнодушен уже и тогда).

Отчетливо помню и обстоятельства, положившие начало моей коллекции. Мне было семь лет, я пошел в первый класс и, как положено в том возрасте, у меня выпадали молочные зубы. Явление это, как всякий помнит, в общем, не из шибко приятных даже само по себе — а тем более в той советской атмосфере всеобщего *enforcement'a* во благо прогресса. Короче говоря, едва какой-то зуб начинал шататься, все вокруг принимались меня прессовать, желая склонить к досрочному изъятию отторгаемой части тела — якобы для лучшего развития того, что растет ей на смену. Крамольная мысль о том, чтобы предоставить жизни идти собственным своим чередом, была тогдашним образованным взрослым дика и чужда, как чужда микояновской «Книге о вкусной и здоровой пище» идея свежей, не погруженной в ГУЛАГ консервных банок еды...

Итак, зуб знай себе шатался, и родители на этот раз решили удалить его отнюдь не домашним каким-нибудь способом, с помощью ниточки и дверной ручки, а всею мощью системы советского здравоохранения, сиречь, в детской стоматологической поликлинике Выборгского района. Надо отдать им должное, организована операция была безупречно: в ближайший выходной мы всей семьей отправились вроде бы на прогулку в парк Лесотехнической академии и как бы невзначай, попутно зашли в поликлинику, счастливо расположенную, ну надо же, как раз на его краю. Там со мной разобрались прямо в смотровом кабинете, не утруждая операционную: смазали десну каким-то местным анальгетиком, после чего вытянули зуб практически безболезненно и мгновенно. Надо сказать, что и я оказался на высоте: вопреки родительским ожиданиям, проявил чудеса послушания, граничащего едва ли не с полным безразличием к происходящему. Не суетился, не сопротивлялся, не плакал. Видимо, характерная

атмосфера поликлиники просто шокировала меня, парализовав волю, — что, собственно, и являлось советским воспитательным идеалом. С тем и вернулись домой.

В общем, случившееся превзошло самые лучшие родительские ожидания, за что меня и решили вознаградить: кажется, день спустя мне был вручен новенький альбом малого формата в коричневой пластиковой обложке, а также прямоугольный целлофановый пакетик, в котором покоились марки в количестве 5 штук — серия «морские млекопитающие СССР» 1971 года: калан, нарвал, тюлень-крылатка, морж и дельфин-белобочка.

С этого все и началось. Не знаю даже, во что я тогда больше влюбился: в сами серебристо-голубые марки или в их временное целлофановое жилище. Помню, эти маленькие аккумуляторные, приятно шуршащие пакетики еще долго были для меня отдельной, самостоятельной ценностью и отрадой — их накапливалось много, и я воображал, что стану потом использовать их для чего-то очень важного, взрослого, настоящего, стану помещать в них нечто, обладающее высокой ценностью, и передавать другим людям, с которыми у меня установятся серьезные, деловые отношения.

Но вернемся к маркам, вернее, к филателии как таковой — само это слово и все, что с ним связано, я, кажется, узнал в тот же день или, во всяком случае, где-то вблизи того дня — уж это точно. Рассказал мне обо всем отец — собственно, это была именно его идея подарить мне альбом, мама играла здесь пассивную роль. Так вот, отец поведал мне о том, как обращаться с марками, о том, как отклеивать их от конвертов, и о том, в каких случаях этого делать не надо, дабы не испортить коллекционный материал, более ценный, нежели просто марка. Отец рассказал мне о каталоге Yvert, о «Черном пенни» и о командире крейсера «Варяг» Всеволоде Рудневе, чья коллекция, включавшая «Голубой Маврикий», погибла вместе с затопленным кораблем. Отец же подарил мне шестикратную лупу и даже сводил однажды на открытие филателистической выставки, устроенной в световом зале Почтамта (где я тогда оказался впервые). Помню, я с трепетом глядел на эти защищенные стеклом стенды, мимо которых прохаживались серьезные люди в очках, что-то в них внимательно разглядывали, показывали друг другу, делали замечания, не стесняясь открывать свои чувства: когда — восторг с примесью зависти, когда — сарказм, а когда — лишь простое молчаливое понимание, какой-нибудь, выражающий солидарность, кивок головы с одновременным выпячиванием губ. Потом мы отстояли очередь на спецгашение: я сам написал наш домашний адрес на конверте с напечатанной прямо на нем оригинальной маркой, строгая тетя, похожая на кассиршу из нашей «стекляшки», безучастно взяла конверт из моих рук, проштамповала, и я сунул его в установленный тут же почтовый ящик. Дома потом я каждый день спускался на второй этаж проверять почту — пока, наконец, по прошествии недели не получил этот конверт в свои руки вновь: к нестандартному выставочному штемпелю на нем добавились еще два обычных — Выборгского узла связи и нашего родного почтового отделения К-223.

От отца я узнал и про общество филателистов, куда можно будет вступить в восемнадцать лет и где коллекционеры продают и обменивают марки. А пока что можно пополнять свою коллекцию самостоятельно — покупая марки в киосках и на почте за карманные деньги или же выменивая их у таких же, как я, любознательных школьников.

Чем я и занялся, воодушевившись, помимо прочего, еще и прочитанной повестью «Розовая Гвиана» детского писателя Николая Внукова, — кстати сказать, любимого в мои школьные годы, а ныне незаслуженно забытого почему-то.

В общем, коллекционер во мне успешно родился и начал вполне уверенно дышать — вскоре к подаренному «на зубок» альбомчику присоединился второй, потом третий — уже большего формата. И все они так или иначе заполнялись.

Источников поступлений было несколько. Во-первых — подарки. Что-то, конечно, дарили родители, точнее — отец. Что-то — всякие родственники и родительские взрослые друзья, прослышавшие, что «у них мальчик собирает марки» и радостно избавленные благо-

даря этому от всегдашне мучительных размышлений о том, «что бы их мальчику подарить, раз уж идем к ним в гости». Разумеется, большей частью такие приношения били мимо цели, как и положено для 99% взрослых подарков чужим детям школьного возраста: марки, само собой, покупались первые попавшиеся на глаза, исходя из их взрослых представлений о внешней привлекательности и допустимости денежных трат. Сама мысль о том, что этот мальчик может собирать не все на свете марки, а строго определенные, и что уж текущее-то предложение уличных киосков «Союзпечати» им проработано и без их дилетантского участия, конечно же, была далека от этих взрослых, как вершина Джомолунгмы. В общем, подобные подарки формировали в итоге мой обменный фонд — точнее, его наименее ликвидную часть, оседающая там надолго, если не сказать навсегда.

Другим источником пополнения моей коллекции стал одноклассник Петя. Вернее, папа одноклассника Пети. Он был ученым, биофизиком, и всякий раз, когда я оказывался у них дома (обычно после школы, рядом с которой они жили, но иногда и в более позднее время), видел его сидящим за письменным столом. Петя объяснил мне, что папа работает дома, а я никак не мог взять в толк — хорошая это или плохая работа, если на нее почти не надо ходить, но зато она никогда не кончается — ни днем, ни вечером.

Так вот, Петин ученый папа по роду своих занятий получал очень много писем из разных стран. Письма приходили в больших плотных конвертах (судя по всему, под страницы А4 или, как говорили тогда, 11 формата), и большей частью интереса для меня не представляли: вместо марок в их верхних правых уголках красовались розовые оттиски франкировочной машины. Но даже оставшаяся меньшая их часть была для меня родником сокровищ — сейчас не помню, дарил ли мне их Петя или же я выменивал у него на что-то эти конверты (он, кажется, тоже собирал марки), но только в итоге я становился их счастливым владельцем и, как замороженный, рассматривал эти узкие разноцветные наклейки PAR AVION, RECOMMANDÉ или POSTE RESTANTE¹. Что же до самих марок, то они были интересны не столько сюжетами (чаще всего это все-таки были стандартные знаки почтовой оплаты), сколько странами происхождения, никак не представленными в советских киосках «Союзпечати». Я до сих пор помню этих очень тонко выведенных монохромных чаек над буквами SVERIGE² или миниатюрных журавликов рядом с надписью NIPPON³. Воистину, они являлись для меня теми самыми пылинками дальних стран на ноже карманном, что способны открыть советскому мальчику из серо-прямоугольных панельных новостроек закутанный в цветной туман мир.

Потом все как-то незаметно сошло на нет — еще при жизни отца — я стал все реже заглядывать в свои альбомы, почти не пополнял их, разве лишь случайно, не показывая сверстникам, оказавшимся у меня в гостях, — им это все теперь было до лампочки...

А потом прошло еще много-много лет, и я, путешествуя, пару раз ловил себя на странных ощущениях, своего рода ступоре, сродни фантомной боли, тупиковой коллизии открывшихся возможностей и скептического здравого смысла. Дело было, коли не путаю, и тогда, и тогда в странах, обладавших диковинным статусом «непризнанных» — а если конкретно, то сперва в Абхазии, а затем на Турецком Кипре. Там тоже имеется почта, и эта почта эмитирует марки — очень красивые, предназначенные, разумеется, в первую очередь, для туристов. И вот на эти марки я там и наткнулся — и встал перед ними, не то как буриданов осел, не то как валамова ослица, не то как оба животных разом. Стоял и глядел на эти милые портреты местной фауны, не зная, что делать. Покупать — но для чего? Чтобы утопить на веки в ворохе бумаг, разобрать которые при жизни не дойдут руки? А если подарить кому-то — то кому? Кто в силах оценить эту сентиментальную красоту и, оценив, обойтись с ней достойно? Но у меня

¹ «Авиапочта», «Заказное». «До востребования» (*фр.*).

² Швеция (шв.).

³ Япония (яп.).

нету таких знакомых — последним, пожалуй, и был мой отец, а пред ним — странный немолодой израильтянин, эфемерный деловой партнер, про которого знали, что он — филателист, и который с неподдельной радостью воспринял соответствующий представительский подарок. Можно было, впрочем, отправить самому себе письмо — но я не сделал и этого, почувствовав в таком поступке какую-то прихотливую издевку.

Но, черт возьми: я ведь не все сказал! Не сказал про тот вполне обыденный, по всей видимости, выходной день в межсезонье — когда, что ни нацепи на себя, все равно будет жарко либо, напротив, — промозгло, когда ноги сами собой ступают в лужи талой грязи, день короткий, пасмурно, и вообще ничего хорошего не происходит в этом безнадежно взрослом мире.

И вот я стою перед будкой «Союзпечати», которая высится у входа в наш гастроном, «стекляшку». Стою не с фасада киоска, где расположено окошечко для словесного, а затем денежно-вещевого сношения с киоскершей, а с правого бока — ведь именно там, в нижнем ярусе медийного иконостаса, набранного разными дурацкими журналами с портретами членов Политбюро и еженедельными газетами, установлено несколько кляссерных страниц с марками.

Стою, задрал голову и разинув рот, — и, право же, есть от чего: прямо на уровне моей макушки за стеклом киоска происходит форменное чудо: оттуда глядят, пронзая своим кричащим разноцветьем нашу серую осенне-весеннюю хлябь, наперекосяк втиснутые в кляссерные кармашки «малые листы» — то бишь, наборы из нескольких разных марок, отпечатанных на нераздельном куске бумаги и разграниченных лишь перфорацией — образующих совокупно некое единое изображение, наподобие нынешних паззлов, что ли.

Это были птицы — сидящие как бы на ветках одного дерева разнообразные птицы тропической Африки, броских цветов, под стать буйству цветов экваториального леса, — но также и обычные наши скворцы и кто-то еще, знакомый по урокам природоведения (я внутренне кивнул себе не без самодовольства: да, да, знаю — многие птицы средней полосы зимуют в Африке, и эти невежественные негры считают их своей, а не нашей фауной!). Стоит добавить, что я и прежде встречал эту серию: она имела у соседской девочки, бывшей старше меня на несколько лет и, как я был убежден, появилась в ее коллекции задолго до того, как я увлекся марками. Иначе говоря, застать этих птиц в свободной продаже как будто бы мне не светило, и тут — на тебе, покупай — не хочу!

В общем, я стоял и смотрел, смотрел и сокрушался — ибо стоил набор несколько рублей, сумму, неподъемную для моего тогдашнего бюджета, формируемого, главным образом, за счет экономии на школьных завтраках и проезда «зайцем» в общественном транспорте (я трижды в неделю катался на фехтовальную тренировку). Оставалось любоваться через не слишком чистое витринное стекло, чем я и занимался, забыв про время, несделанные уроки и родителей, поручивших мне что-то купить в «стекляшке».

Кажется, прошло несколько минут, прежде чем я понял, что не один здесь наслаждаюсь этими почтовыми изделиями далекой страны. Другой мальчик стоял рядом и так же, как я, не спускал глаз с африканских пернатых. Точнее говоря, он постоянно рыскал взглядом: переводил его то и дело с птиц на меня, а затем обратно. Он словно бы ждал от меня чего-то, какой-то реакции.

Этого мальчика я, в общем, знал. Звали его Вадик, был он на голову выше ростом и старше меня года на два-три. Жил Вадик в одном из соседних домов с матерью и, кажется, старшей сестрой. Какой-то дружбы и вообще отношений у нас с ним не завязалось, хотя он подолгу топтался в нашем дворе и был свидетелем (но едва ли когда-то участником) наших игр — впрочем, мешать он нам тоже не мешал, никого, кажется, не обижал и, в общем, почти не привлекал к себе внимания. Мы как-то интуитивно чувствовали, что он относится к какому-то другому классу, слою, социальной страте — не знаю, как правильно сказать.

И вот сейчас этот Вадик стоял тут рядом и вместе со мной разглядывал марки.

— Нравится?

Я кивнул.

— Какие?

Я ткнул пальцем.

— Вот эти, Бурундия.

— Чего?

— Ну, птицы. Это страна такая Бурундия, вон, написано.

Теперь кивнул Вадик, как видно, неспособный прочесть латинские буквы.

— Да вижу я.

— А чего спросил?

— Так просто. Собираешь марки?

— Ага. А ты.

— И я. Много?

— Что много?

— Много их у тебя, говорю?

— Кого, марок?

— Нет, котлет. — И он засмеялся, довольный собственной шуткой. — Марок, конечно!

— Ну, так. А у тебя?

— У меня очень много.

Помолчали немного с важным видом. Затем Вадик спросил:

— Хочешь этих птичек?

— Хочу.

— Так купи.

— Денег нету.

— А толкнуть?

— У кого?

— Ну, у меня.

— Что, у тебя есть такие на обмен?

— Угу. Я космос собираю, а это флораифауна. Мне не надо. Могу толкнуть, если есть космос. Или самолеты.

Быстрый спазм надежды чуть сдавил дыхание.

— У меня есть Куба. Шесть серий — там наши космонавты, Терешкова и другие, а еще разные спутники и эти, как их, спускаемые аппараты.

Вадик, казалось, заинтересовался.

— Посмотреть надо. Может, и у меня есть такие. А может, и нету. Тогда толкнем.

Я на миг задумался.

— А как я тебе покажу? У меня дома.

Вадик пожал плечами.

— Ясно, что не с собой. Ты сходи за ними, а потом пойдем ко мне и махнемся.

Я согласился.

Мы пошли ко мне домой, причем Вадик, узнав, что дома родители, наотрез отказался даже заходить в подъезд — сказал, что подождет меня внизу, — и это несмотря на то, что я весьма настойчиво соблазнял его познакомиться с моей коллекцией. Ну нет, так нет, — заскочив в квартиру, я, не раздеваясь, бросился к полке, где лежали альбомы и все с ними связанное, быстро нашел то, что искал, и, переложив марки в двухстраничный технический кляссер, полетел обратно, сопровождаемый недоуменными взглядами родителей.

Вадик терпеливо дожидался на улице, сидя на покосившихся детских качельках — он едва втиснулся в рассчитанное на малышню сидение.

— Взял? Пойдем, что ли.

Мы пошли к нему, пересекли двор, обогнули соседнюю пятиэтажку, миновали выстроившиеся рядом три серебристых жестяных гаража, на крышу которых мы с мальчишками любили забираться зимой, и наконец уперлись в подъезд точечного двенадцатиэтажного кирпичного дома, где Вадик жил.

— Заходи.

Я шагнул внутрь, Вадик — следом.

— На каком этаже?

— Третий.

Поднялись по лестнице, обходя квадратные жерла мусоропровода — этого многоглавого железного дракона тогдашних высотных домов, зараженного, как правило, неизводимой тараканьей инвазией.

У двери в квартиру Вадик долго доставал ключик из кармана штанов, затем сунул его в замок, повернул два раза, предварительно потянув на себя дверь, и вот она открылась, и мы вошли.

Помню, в нос ударил запах плохо пожаренной рыбы. Откуда-то, наверное, с кухни, доносились звуки текущей воды, гремела посуда. В прихожей было тесно и темно — даже после того, как Вадик щелкнул выключателем. Я начал снимать пальтишко, но сразу же был остановлен:

— погоди. Постой здесь. Не топчи, а то мамка заругается.

Сам он быстро разулся, скинул верхнюю одежду и, зашвырнув шапку куда-то глубоко в стеной шкаф, повернулся ко мне.

— Ну давай, где у тебя?

— Что?

— Марки, говорю, давай. Я посмотрю, и, если нету таких же, принесу тебе твоих птичек.

Не успев опомниться, я протянул ему классер. Вадик тут же исчез в комнате, оставив меня потеть в ожидании, — и, надо признать, потел я долго, очень долго, успев утомить свое воображение мыслями о том, как он листает там где-то свои альбомы в поисках совпадений (сколько у него альбомов? два? три? он сказал — очень много — может быть, пять?), затем ищет в другом каком-то месте бурундийских птиц, вставляет их в мой классер взамен кубинских покорителей Космоса... Кажется, тогда я впервые столкнулся с этим приемом — столь обычным для разного рода присутственных мест, тюрем предварительного следствия и прочих подобных заведений, — когда твое внимание и волю растворяют в длительном ожидании, усталость от которого постепенно заполняет душу, вытесняя из нее все прочее и подменяя настоящие твои цели предательским желанием поскорее выбраться на свободу, — прямо сейчас, немедленно, любой ценой!

Однако же и самому тягостному ожиданию приходит конец. Вот и Вадик появился в коридоре — при этом походка его изменилась: прежняя опасливая скованность уступила место какой-то странной вертлявости, он словно бы не мог теперь стоять смирно, даже разговаривая со мной, — все время переступал с ноги на ногу, то почесываясь, то засовывая в карман свободную руку.

— На.

Он протянул мне классер.

— Подходящие у тебя. Беру.

Я распахнул картонные корочки, думая обнаружить там вожаденный приз — но не тут-то было: классер оказался пустым.

— А где же...

— ...у меня сейчас нет. Должны принести. Кореш мой. Сегодня вечером...

— Тогда отдай мои...

— Зачем? Я уже их в альбом положил... завтра приходи, я тебе...

— Отдай!

Он замотал головой.

— Не отдам! — Глаза его светились торжеством, — Не отдам!

— Отдай, сволочь!

Свободной рукой я вцепился ему в плечо — Вадик попытался уклониться, отступил назад, потерял равновесие и повалился спиной в ближайший угол, увлекая меня с собой.

— Отдай, сволочь, мои марки, слышишь!

Миг спустя мы представляли собой хрипящий и потный клубок ненависти, а еще через миг какая-то неведомая сила схватила меня за шиворот и отбросила назад.

— Что тут такое, а?

Это была мать Вадика — дородная и высокая, как баскетболист, баба в кухонном переднике. Сейчас она смотрела на нас, словно Зевс-громовержец на поверженных титанов.

— Что тут такое, я спрашиваю?

В ответ молчавший во все продолжение драки Вадик вдруг захныкал едва ли не по-ста-рушечьи:

— Ма-ама... он... он... меня...

Она взглянула на меня, потом вновь — на Вадика:

— Что он тебе сделал?

— Ма-ма-марки-ии...

— Он хотел отнять у тебя марочки, да, Вадя?

Он закивал, хлюпая носом.

— Ах ты, сучий жиденек! Мальчик копит марочки, а ты решил у него их отнять? Вот щас тебе будут марочки!

Дальше все случилось мгновенно: сперва она склонилась надо мной и, вырвав из рук классер, кинула его сыну.

— Держи, Вадичка.

Затем, прежде чем я успел опомниться, схватила обеими руками за шиворот и, каким-то образом распахнув дверь, вышвырнула на лестницу так, что я пролетел еще метра полтора вперед. Я услышал, как в захлопнувшейся за моей спиной двери изнутри провернули на два оборота замок.

Домой я не пошел. Надо было успокоиться — не менее часа я бродил по окрестностям, что-то бубнил себе под нос, размахивал руками. Раз даже чуть не попал под грузовик, выезжавший с разгрузочной площадки у магазина: водителю пришлось дать длинный, с хрипотцой, истерично-обиженный гудок...

Наконец стало полегче, и я вернулся в отчие пенаты. Стараясь не мозолить глаза родителям, быстро разделся, отбоярился от обеда и, довольный, что они забыли про данное мне магазинное поручение, убежал к себе в комнату, где забился в угол дивана, надеясь, что удастся провести в одиночестве хотя бы сколько-то времени, прежде чем отец придет смотреть телевизор.

Комната словно бы вбирала в себя своей неподвижностью — все в ней находилось на привычных местах, как обычно: книги в шкафу в неизменной последовательности корешков, кашпо с застывшей в неподвижном воздухе ломкой традесканцией, дедушкин черно-белый портрет на стене — все словно бы говорило мне, что ничего не случилось, гармония восстановится, серьезных проблем нет, а те, что есть, — ерунда в сравнении с заведенным порядком вещей, и если даже что-то произошло неприятное, то оно скоро забудется, как это всегда и бывает, а иначе невозможно. Забудется, и последовательность книжных корешков останется нерушимой.

Подобное не могло не подействовать — огонь пережитого унижения перестал жечь столь отчаянно — мне, кажется, удалось разорвать это раскаленное кольцо, по которому двигались мысли в моей голове, они тут же вырвались на волю, и я отдался этой воле, ловя всплывающие куда-то в преддверие языка не связанные друг с другом слова: «сметана», «тридцать копеек», «чернильная клякса», «марки».

И тут же зацепился за слово «марки», ухватил его, не дав исчезнуть вслед за прочими, — и, ухватив, вновь обвел комнату взглядом, еще не понимая, что именно ищут в ней мои глаза.

Альбомы лежали на том же месте — там, где они лежат обычно и где я оставил их, отправляясь впопыхах совершать роковую сделку. Соскочив на пол, я метнулся к ним, схватил крайний — как раз тот, самый первый, коричневый, с которого все началось, и столь же стремительно вернулся назад, в царство диванных подушек. Раскрыл его — и обомлел.

Та серебристая серия морских млекопитающих 1971 года открывала у меня коллекцию, размещенная сверху первой страницы альбома. Сейчас эти марки, как и прежде, красовались, под стать прочим своим собратьям, ровненько и аккуратно втиснутые в кармашки из ацетатной пленки — втиснутые плотно, в натяг, так, чтобы не выскользнули при любых перемещениях альбома (чем, кстати сказать, и определялось его качество). Красовались по-прежнему — да не совсем: одной шестикопеечной марки с каланом нигде не было — и ее место зияло теперь, будто прореха от выпавшего молочного зуба.

Зачем-то я перелистал страницы — вплоть до самой последней, словно бы пропавшая марка действительно могла затесаться там, самовольно переселившись или же отправившись гостить к какой-нибудь дальней своей родственнице. Результат, таким образом, был предсказуем и, захлопнув альбом, я побежал, держа его в руках, на кухню к родителям — уже не помню, как объяснив самому себе этот порыв — возможно, никак не объяснив.

Родители пили чай. Оба посмотрели на меня с интересом — кажется, они только сейчас заметили, что со мною что-то неладно.

— Что с тобой... что случилось?

Я проглатывал слова.

— У меня марки... марка... одна... она... она пропала...

— Какая марка? — Отец поставил чашку на стол и шумно, вместе со стулом, повернулся ко мне лицом.

— Что за марка?

— Вот эта... отсюда... — Я раскрыл альбом. — Из той первой серии... помнишь? Ну, где звери... морские звери...

— Всего одна марка? — это вступила мать.

— Одна... испортила серию... теперь... теперь вся серия бракованная!

Мать тоже повернулась ко мне, положила руки себе колени.

— Послушай...

Я замолчал вопросительно.

— Послушай, ну это я взяла оттуда марку, да. Нужно было на конверт наклеить, как раз шесть копеек. Я написала письмо бабушке, а конверт был без марки. Ты ведь любишь бабушку? Вот. Тебе же не жалко для бабушки... какой-то марки... Зато я теперь отправила письмо, и ты мне в этом, считай, помог, молодчина. Помог маме.

Я беззвучно хватал воздух ртом — как рыба — раз, другой.

— А марки мы тебе потом еще купим. Лучше, чем эти. Вот обещаю тебе. Ты мне веришь? Да?

Я почувствовал, как все лицо у меня набухает слезами — не только глаза, но и щеки, подбородок, лоб, даже волосы, кажется. Становится горячим, пухлым и бесформенным. Красным и некрасивым. Я бросился прочь, в комнату, на ходу захлебываясь громкими и гулкими, словно падающие камни, рыданиями...

03.09.2020 — 30.09.2020

КРАСНАЯ ЛАМПА

Этот едкий, гадкий табачный дым, вьется, колыхнется... контрабандой затягивает на веранду сквозь полуоткрытую дверь. Возле крыльца нынче составилась позорный клуб сутулых людей: короткие реплики, покачивание головами, стряхивание пепла под терпеливую сирень... бабушкины флоксы уже и вовсе почти затоптали...

Чудó-... нет, ну, чудóвищные гости, ей-богу!.. змеи вытянутых рук среди соусниц и тарелок... Масляные голоса выются, вьются, словно волокна истершегося каната, — то и дело обрываясь, но тут же, взамен, вплетаясь новыми, другими: вместо сопрано — вдруг альты, вместо тенора — теперь, нá тебе, баритон... и кто-то уронил на стол стакан невзначай, разлив красное вино причудливой, похожей на контур Англии, лужицей... и побежали за тряпкою...

— Андрю-а-ша!.. — голос матери не настойчив — Андрю-шень-ка... где ты?.. иди сюда-а!..

Спрятаться? Выйти? Да ну их к черту: все же нехотя появляется — важный, насупленный, сердитый, рубашка не заправлена, руки в карманах — вылитый скворец на весеннем газоне...

— Хоть бы причесался!.. Давай, съешь что-нибудь...

И тут же забыла.

И слава богу!

— Саша, Митя, Алена Петровна — знаете, что... давайте выпьем сейчас еще по одной за то, чтобы всегда...

Короткий, стремительный взгляд исподлобья вбок, поверх графинов и бутылок, через стол — туда, где в бархате кушетки тонут ноги Настеньки.

Загорелые, голые, чуть играя в случайном солнечном зайчике еле заметной дымкой невидимых прозрачных волосков... одна на одной, застыли невозмутимо... истинные хозяева пространства... как все равно — у взрослой женщины...

Сладкой оторопью пронзенный — от кончиков пальцев до предательски вспыхнувших щек — прилип к ним взором. Смотреть, смотреть и смотреть еще...

...затем, все так же, нахохлившись букою, неохотно посмел оторваться, подняв глаза, — и тут же удостоился застать перемену: прежний ее рассеянный, скучающий, скользкий по головам и вилкам взгляд, наткнувшись на него, немедленно ожил в улыбку — простую и как будто бы бесхитростную.

Протиснувшись вдоль стола, между разнокалиберных стульев, то и дело извиняясь сквозь зубы и, тем не менее, задев кого-то невзначай, — да, впрочем, кажется, никто и не заметил... не до того....

— Поела?..

— Я не хочу...

Хмыкнуть невнятно, неудобно присесть на ручку кресла...

— Чего так?

— Да ну...

Не сказала — скорее, качнула головой. Дерзкая спираль гнедых кудряшек отбилась от своих и теперь заправлена за ушко...

— А ты чего же?

— Да как-то тоже все... *вот уж с меня довольно*... с утра тошнит уже от этих запахов...

И, выждав немного:

— Пойдем отсюда, что ли?..

Кажется, встрепенулась. Прежняя отсиженность, замороженность вмещающей мягкостью кушетки — разом куда-то прочь: чуть поворот головы, новый изгиб онемевшей руки, незаметно сводящий с ума...

— Не знаю даже... Ну, а куда?

— Ко мне... наверх... Я буду там печатать карточки.

Легкие такие, преходящие морщиночки на лобике — проскочили волной.

— Какие... карточки?

— Ну, карточки, фотокарточки... у меня там *лаборатория*... увеличитель, растворы...

Говорить надо весомо, кратко, непонятно. Не выказывая при этом заинтересованности — так всегда делают взрослые.

В заключение же качнуть головой слегка — словно бы чуть-чуть в укоризну.

— Ну, как знаешь, а я пойду — со вчера еще все приготовлено... обидно если фиксаж прокиснет...

И резво слез с неудобной ручки кресла — аж кольнуло в промежности.

===

Крашенная суриком деревянная лестница в два пролета — добравшись до середины, забудешь про все: сюда не поднимаются терпкие запахи ветчины и звон тарелок, и то, и другое, по всему, — субстанции тяжелее воздуха и оседают себе вниз, лишь постепенно, украдкой наполняя отведенный им объем...

Скрипучий путь в другой мир... специально отстать на десяток ступеней — чтобы видеть перед собой не одни лишь лодыжки — и уже там, на самом, самом верху, догнать рывком.

— А какая дверь?..

— Вот эта. Направо. Толкай...

И, не дожидаясь, самому пихнуть крашеную белую ручку — вперед...

Внутри — тихая комната, едва не заснувшая в обиде безлюдья. Скошенный вниз мансардный потолок, окошки в два света углом. Одно, впрочем, загодя затянуто посаженным на частые обойные гвоздики одеялом. А вот другое — распахнуто пока во всю ширь; внутрь, знай себе, лезут непослушные березовые плети, сорят бессмысленной трухой чешуек, рассказывают зачем-то о ветре-шалуне, помаленьку колобродящем там, снаружи.

Выгнать их прочь, выгнать и захлопнуть раму с усилием! Отгородиться плотным одеялом, включив перед тем двадцатипятисвечовую лампочку в голый патроне, сиротливо висящую под потолком на старом перекрученном проводе...

...Удары молоточка не иначе как развлекают гостью — усевшись на венский стул и взгромоздив ногу на ногу (бог ты мой!), смотрит выжидающе — без нетерпения, с легкой улыбкой.

«Не задохнемся?»

Лишь мотнул головой, не смея оторваться от дела. Молоток, молоток, — ты подобен дятлу, обдирающему каждое утро перед домом свои зеленые шишечки... Работа спорится, гвоздики послушно встают на место — словно бы сами находят оставшиеся с прошлого раза отверстия...

— Верхнюю лампу я сейчас тоже выключу.

??

— Надо, чтоб вообще света не было.

Брови вскинула удивленно. Вполоборота взгляд:

— А мы?.. Ничего же не будет видно...

— Норма-а-ально.

Не удостоил ответом, закончив дело. И лишь потом обернулся:

— Смотри...

Щелкнул выключателем и тут же — сквозь разделитель мгновенной тьмы, прежде еще, чем привыкли глаза, — в пару ему уже и другим, на столе, там, где у дальнего края приторочен кое-как железнодорожный фонарь толстого рубинового стекла. (Родной брат тех, что отмечают углы глухого тамбура последнего в пассажирском поезде вагона, под непарные удары колес на стыках удаляющегося и удаляющегося от нас в свою чугуночную недостижимость...)

Вспыхнуло красным — во все углы.

И разом изменилось все. Глубокие тени легли тут и там, возвысив контрастность и удвоив предметы, — сократились расстояния, и даже запахи, кажется, стали другими: пропал щемящий, кислотный тон проявителя, незримо расстилавшийся над прямоугольной ребристой кюветой. А равно и едва заметный мылкий привкус фиксажа, словно бы оседающий на язык, — если только не мерещился он прежде...

Теперь если и пахло, то лишь пылью — давно осевшей и слипшейся, но вдруг потревоженной немилосердным электрическим разогревом. Да еще — извечной шерстяной слежалостью распятого на окне одеяла.

— Двигайся сюда!..

Подтягивая за собой стул, послушно приближает себя к столу:

— Что это, а?

— Только не трогай пока ничего...

Сам же начинает священнодействовать — будто бы чайная церемония какая-то: опробовать сперва допотопное реле времени (полоска непривычно-белого света накоротко выскакивает из сопла увеличителя и тонет втуне), затем вставить кассету с пленкой, вскрыть девственную пачку фотобумаги, отрегулировать фокус кремальеркой... затем...

— Это в июне... на Медное озеро ездили с дядей Юрой... вот его машина...

Оба склоняются над красным высвеченным прямоугольником — Настины кудряшки теперь близко, совсем близко, мало что не касаются его губ — и предательски сушат эти губы, с трудом стесняющие кончик языка: ох, как высунул бы теперь, дотронувшись до края тонкого, прозрачного детского ушка... провел бы по прелестному завитку, обрезавшись...

— Смотри же, как это делается...

Экспозиция... Затем — проявка: распластанный в кювете листок вдруг прорастает островками теней: сперва лишь грязными пятнышками, списанными на погрешность зрения, — смыкающимися несколько мгновений спустя, а затем обретающимися градацией — и быстро вынуть, прежде чем почернеет — и швырнуть в фиксаж, и там ополоснуть!..

— А это кто?..

— Мама... и видишь, Пижон на поводке... вырваться пытается...»

— А это?..

— Не знаю... какие-то девчонки.. но смешные, да.. вот смотри, прикольное дерево... с таким наворотом... и это...

— Гляди, опять Пижон... со шляпой играет...

— А тут?..

— Тут непонятно... потом свет включим — рассмотрим как следует... может, и ничего интересного, напечатал на всякий случай...

Пленка — тридцать шесть кадров. Две — это уже семьдесят два. В трех же оказалось чуть меньше сотни — пять были засвечены, еще столько же примерно — чистый мусор. И два остались неотснятыми почему-то — еще при проявке пленки растворами прилежно вычищены до белизны...

Вылежавшиеся в фиксаже карточки аккуратно поддеты пинцетом и после развешаны на бечевке через комнату — словно стираное белье. Надо бы — глянцеватель, но глянцевателя, увы, нету... Бумага матовая, 13 x 18, «Унибром», сойдет и так.

— Чуть подсохнут — придавлю книгами... чтоб в трубочку не свернулись...

Окинул довольным взглядом плоды труда. Отодвинул кюветы, расчистив на столе место, промокнул тряпочкой нечаянно пролитую каплю — и после едва не уперся своими глазами в густую челочку, спрятавшую опущенные чужие... совсем близко...

...И тогда, как-то само собой, без раздумий и колебаний, будто кем-то научен загодя, — накрыл рукой Настенькину ладонь — и замер на миг, замороженный теплым осязаемым шелком...

Нет, не отдернула...

И склонился вперед, зарывшись носом в макушке: сладкий запах волос, кожи, девичьего легкого пота перебивает все, сминая мысли в плотный комок желания...

— Встань...

Встали оба, с шумом, неловко потеснив стулья.

На миг разомкнулись, но тут же вновь прильнули друг к другу — еще теснее.. Наскоро нащупав губами губы — все как надо!

В полуобмороке как будто, ужасные руки — словно бы некуда деть: искал, искал и вот уже принялся расстегивать кофточку — секундная попытка сопротивления, скорее даже намек — и теперь путь свободен: наткнувшись на ткань лифчика, скользнул за спину, туда, где пряжка эта, непривычная, неудобная...

Все же — как ни кинь, но успел совладать: в красном свете двойняшки-груды выглянули вдруг темными глазами сосков — взамен двух других глаз, спрятанных нависающей челкой. Нежное, нежное, немисливо нежное прикосновение подушечек пальцев... и вдруг...

И вдруг — на тебе, пожалуйста: эти мерзкие шаги на лестнице.

— Андрю-ю-ша!.. Настя!.. дети!.. эй, где вы там?.. куда вы все попрятались?!..

А уже чуть погода — неизбежное: стук в дверь, три не слишком ровных удара женской глупой рукой.

— Вы здесь? Чем вы там заняты, а? Ишь, закрылись...

— А?.. Мы ничего... мы печатаем тут, мама...

— Давайте-ка, спускайтесь ко всем... Хохловы уходят, попрощайтесь...

И зашагала вниз.

...боковым зрением увидел, как смотрит в сторону, в дальний угол, поправляя кофточку торпливо: на сегодня, увы, все, не склеилось, адью!

===

Как веревочке ни виться... в общем, долго ли, коротко ли — а еще неделя прошла.

Всего-то неделя — но тяжкая какая, кому рассказать!..

И вот те же лица в том же интерьере: вся и разница, что увеличитель выключен и в угол задвинут, кюветы и бутылки спрятаны в шкаф, стол пуст и чист, а затемнение снято. Кокетливое солнышко просунулось в окошко сквозь березовые ветви.

Притом, что никаких теперь взрослых в доме — слава тебе, господи, отчалили за грибами поутру — все как один:

недавним слухам подвластны, что-де, маслята пошли будьте-нате — по всем просекам стоят шеренгами, свеженькие, ни червячка... коси, мол, — не хочу...

Настя и Андрей порознь отбоярились — хоть и не без труда.

Вот и ладно.

И теперь сидят друг перед другом, смотрят чуть-чуть насмешливо. Молчат.

Потом вдруг встали: сначала — он, миг спустя — она, подались навстречу, сделав полшага...

Прежний путь не напрасен — руки враз находят привычную уже дорогу, — не путаясь больше в пуговицах и даже справившись без труда с крючками бюстгальтера. Вновь — волшебное прикосновение, и можно двинуться дальше, где давеча не был, — но стоп:

шагнула назад, мотнув головой. Подняла глаза: милые, чуть растерянные, влажные.

— Не надо. Подожди. Я боюсь. А ты можешь... сейчас включить... эту твою красную лампу?..

23.10.2015 — 14.01.2016

СЕСТРА

1.

Первым делом почему-то вспоминается озеро — такая тишина, попорченная лишь приглушенным птичьим гомоном, неназойливый легкий холодок и утренняя рассветная дымка над водой... притом, что я и видел-то все это, кажется, лишь однажды за детство, лет в десять или одиннадцать, — когда в компании соседского мальчика мы выбрались затемно с удочками, терпеливо встали в камышах чуть справа от пляжа — да, точно, там были заросли камыша и в них старые такие, коричнево-серые, полусгнившие мостки, — и вот мы простояли в этих зарослях, наверное, до полудня, досыта накормив комаров, но так ничего не поймав толком, — ну, может, три или четыре плотвички на двоих — что называется, курам на смех. Зато вот это ощущение — когда, представь, уже почти рассвело, солнца нету, но уже видно всё, и людей пока нет нигде тоже, они будто вовсе не существуют, и ты здесь словно бы нечаянный зритель, допущенный Матерью Природой по какому-то снисходительному недосмотру, невзирая на малые лета... ради этого, действительно, стоило пожертвовать сном... большое дело, ей-богу!

Дача, насколько я сейчас помню, принадлежала дяде Славе — низенькому, как пень, и седенькому, как лунь, все время улыбающемуся немногословному старичку. Живший на ней практически безвылазно зимой и летом, он, кажется, до выхода на пенсию был где-то важным торговым начальником, отчего и сладил этот большущий дом, способный при необходимости разом принять все наше разросшееся семейство. В то время дяде Славе было где-то под восемьдесят или даже больше, его, конечно же, не обделяли вниманием: заботливо ухаживали за общим столом, пересказывали в глухое ухо недорасслышанные шутки, но в целом воспринимали скорее как элемент дачного интерьера — наравне с обгорелой латунной кочергой, стоявшей возле печки, или крашенным в зеленое металлическим умывальником, прибитым загнутыми в разные стороны гвоздями к старой, истерзанной березе и отчаянно стучавшим по утрам сквозь последние крупницы моего испаряющегося сна.

Помногу, то есть дольше пары недель кряду, я в те годы жил в Пескушах редко — считай, раза два или три всего и было такое. Порой родители привозили меня на выходные, а однажды, десятиклассником, я вдруг приехал туда сам, манкируя школу. Стояла зима, дядя Слава встретил меня один — он все так же улыбался, очень мало говорил и почти ничего не спрашивал. Казалось, он действительно рад моему неожиданному появлению. В доме было натоплено, дорожки во дворе заботливо расчищены. Не спрашивая, голоден ли я, дядя Слава поставил на стол разогретое жаркое — я принялся есть с подобающей возрасту жадностью, дядя Слава все так же молча добавлял в тарелку мясо и картошку, — наконец, я насытился, отодвинул тарелку, старик освободил стол и, сев напротив, принялся разглядывать меня — молча и, как мне показалось, насмешливо, сквозь всегдашнюю свою полуулыбку. Уже через пару минут мне стало не по себе. Я что-то спросил, но дядя Слава не то не расслышал, не то сделал вид, что не расслышал, продолжив сидеть на своем месте и беззвучно разглядывать меня так, как смотрят на грудного младенчика: дивясь бессмысленным движениям его бесполезных ножек и пальчиков.

Не помню, как я освободился от этой пытки. Пробормотав что-то невнятное, я затопился прочь, — дядя Слава пошел меня проводить, накинув дубленку на плечи, вывел за ворота и, когда я зашагал к станции, остался стоять у дороги. У переезда я обернулся: он все еще стоял, глядя мне вслед.

2.

А года за четыре до этого зимнего блиц-визита на дачу дяди Славы я провел на ней без одной недели весь июль, то есть дней двадцать с небольшим. Народу в это время там проживало, по обыкновению, много — всевозможная дальняя и ближняя родня, включая иногороднюю, — однако мне первые дни было скучновато из-за отсутствия сверстников. В самом деле, так вышло, что помимо меня на даче в тот момент не было ни одного подростка — да что там подростка, даже детей не оказалось почему-то. И это притом, что как раз мое поколение в нашей семье было достаточно урожайным. Вот, правда, не знаю, почему так сошлось, куда их всех тогда дели...

Впрочем, скучал я недолго: уже на следующие выходные приехала голосистая и энергичная двоюродная тетка с дочерью Анечкой, приходившейся мне, таким образом, троюродной сестрой.

Анечке тогда исполнилось или вот-вот должно было исполниться шестнадцать. Надо ли объяснять, что, за небогатством выбора, мы тут же оказались предоставленными друг другу, легко столковались и оставались в этом состоянии вплоть до Анечкиного отъезда обратно в город, то есть еще недели две, не меньше. Мы, разумеется, были знакомы и прежде, но не виделись уже давно, несколько лет, и «Лидина Анечка», ставшая за это время почти взрослой на вид, очень красивой девушкой с крупными правильными формами и длинным хвостом густых, черных, как парабеллум, волос, являла для меня тогда неожиданное и непривычное зрелище. Вызывающее глубинное волнение не в полной мере понятной мне, дурачку, природы...

Помню, на второй или на третий день по ее приезду взрослые, как и накануне, решили после завтрака отправиться на озеро всей компанией, благо, целую неделю было жарко и солнечно. Мы с Анечкой, понятно, увязались с ними, взяв с собой плавательный матрас — на пляже мы его надули, как положено, резиновой, похожей на домру лягушкой и спустили на воду. Затем легли на него поперек — так, чтобы ноги оставались в воде, — и поплыли от берега, синхронно двигая голеностопами. На середине озера мы забрались на матрас уже полностью, какое-то время просто сидели на нем друг против друга, неподвижно и молча — наслаждаясь этой странной отрешенностью от шумной человеческой суеты, находившейся тут же рядом, в пределах видимости и одновременно прочно отделенной от нас несколькими сотнями метров сплошной воды. Потом Анечке это праздное созерцание наскучило. Потом... Но прежде, чем сообщить, что стало потом, я должен рассказать о себе... иначе говоря, открыть одну не делающую мне чести деталь. В общем, плавать я тогда, в целом, как-то умел. Но плавать далеко — боялся. В чем, к своей досаде, уже убедилась накануне Анечка, которой я не составил компанию в заплыве к противоположному берегу. Сама же девушка плавала — что твоя русалка, она, кажется, когда-то прежде занималась этим видом спорта — и даже как будто бы небезуспешно в плане разрядов и всяческих наград.

В общем, абсолютно неожиданно она соскользнула в воду и, прежде чем я успел восстановить равновесие нашего утлого плавсредства, решительным движением перевернула матрас, скинув и меня в озеро. Я замешкался. Вынырнув и выплюнув набравшуюся в рот воду, я увидел, как она улепetyвает прочь на всех парах вместе с матрасом — но не в сторону нашего пляжа, а наоборот. Я как-то понял, что догнать ее не получится, и решил плыть к берегу, — сознавая, что это будет для меня вполне рекордной по протяженности дистанцией. В общем, я добрался — как мне казалось, на одном дыхании, молотя руками по воде что есть силы и даже не глядя, далеко ли еще плыть: видимо, мне было страшно увидеть воочию оставшееся расстояние, от уровня воды, как известно, воспринимающееся совсем не так, как стоя на берегу во весь рост.

Умаявшись, я вышел на сушу, шатаясь и дыша, как плохой велосипедный насос. Все это, разумеется, не осталось незамеченным взрослыми: как оказалось, они и прежде посматри-

вали за нами, еще до моего впечатляющего анабазиса. Соответственно, Анечка, подплывшая к берегу минут пять или десять спустя, была немедленно отведена тетей Лидой в сторону и там, по всей видимости, обрела от нее вполне недвусмысленный реприманд — жестикуляция одной, кивки в мою сторону и понурая поза другой не давали повода в этом усомниться. Вернувшись, девушка тут же попросила у меня прощения: взяла за руку и, чуть склонив набок голову, заглянула в глаза таким взглядом, каким на меня до того еще не смотрели ни разу:

— Я хотела, чтобы ты... просто преодолел свой страх... и всё...

Надо ли объяснять, что остатки обиды — если и была у меня тогда какая-то обида — рассеялись тут же, словно утренняя роса на траве в саду дяди Славы.

Но не у самой Анечки: у нее-то обида никуда не делась — мне еще только предстояло узнать, что в шестнадцать лет нагоняи от взрослых переживаются болезненно, как никогда прежде и никогда потом, — даже самое незначительное замечание мнится вселенским позором, не смываемым ничем и никогда, и лучше провалиться сквозь землю, — даже если старшие больше не демонстрируют ни малейшего неудовольствия тобой и, напротив, готовы принять тебя в свой круг.

В общем, она сказала мне, что хочет вернуться домой прямо сейчас, не дожидаясь, когда взрослые наслаются в полной мере пляжной негой, я, понятно, поспешил присоединиться, и вот мы потащили давешний матрас восвояси, по неведомой вовек причине не удосужившись его сдуть: так и волокли его вдвоем по пыльной песчаной улице дачного поселка.

Помню, что, добравшись, мы кинули его на газончик возле входа в дом — рядом с двумя крашенными в белое деревянными скамейками и белым же самопально сколоченным столиком — видимо, таким образом, предполагалось оборудовать новое место для загорания, не знаю.

— Пойдем, переоденемся, — сказала Анечка, и мы вошли в дом. Поднялись на второй этаж, где одну из комнат со скошенным потолком (я тогда еще не знал, что это называется мансардой) занимали тетя Лида с дочкой. Вошли. Анечка открыла дверцу высокого шкафа из темного дерева с резьбой и ростовым зеркалом — верно, старинного, но выброшенного откуда-то и затем перевезенного сюда из города по тогдашнему дачному обыкновению. Я стоял в стороне, облокотившись о подоконник, — смотрел, как Анечкино отражение играет в своем вальсе...

Девушка тем временем выволокла из шкафа и небрежно свалила в сторону, на кресло, некоторое количество разноцветного тряпья, затем, глядя на себя в зеркало, как-то интересно изогнула за спиной руки и, расстегнув лиф купальника, в следующее мгновение освободилась от него вовсе. Ее голая грудь была отлично видна мне в отражении зеркала — я инстинктивно дернулся, порываясь отвернуться, но — лишь дернулся и только. Что-то словно сковало меня, заставило остаться на месте и не отводить взгляда.

Анечка тем временем, рассматривала себя в зеркале, как ни в чем не бывало: слегка наклонялась в ту или другую сторону, вытягивала руки. Затем вдруг обернулась ко мне и, чуть покраснев, вновь заглянула в глаза, как тогда на пляже:

— Ты же маленький еще... тебе можно... иди сюда...

— Не... — сказал я, мотнув головой, однако подчинился и, отлипнув от подоконника, шагнул к девушке.

— Давай играть!.. вот хочешь потрогать... здесь...

Она второй раз за сегодня взяла меня за руку и с легким усилием положила ее себе на грудь.

— И вторую тоже...

Я опять подчинился.

— Вот можешь погладить... здесь и здесь...

И вновь я послушался. Гладить было приятно. Очень приятно. Мало-помалу я увлекся и даже как-то отчасти преодолел смущение — настолько, что сумел понять, что девушке приятно тоже...

— А еще здесь можешь... не бойся...

Она опустила мою руку вниз, в свои плавки, затем и вовсе сбросила этот влажный трикотаж, как досадную помеху. Кажется, от вида черных курчавых волос, таинственной порослью уходивших куда-то между ног, я и вовсе лишился остатков воли — теперь со мной можно было делать что угодно.

— А у тебя как... покажи... — Это она полезла уже ко мне в плавки, я почувствовал ее руки, такие же нежные, по-хозяйски оглаживающие меня в самых стыдных местах. Было сладко.

Даже не помню, случилась у меня тогда эрекция или нет. В общем, мы тискались так довольно долго, все более и более раскрепощенно, — пока за окнами не послышались прервавшие нашу идиллию голоса взрослых. Анечка тут же выгнала меня из комнаты, пообещав, что мы вернемся к понравившемуся обоим занятию, как только снова удастся уединиться.

В целом, так и вышло. До Анечкиного отъезда с дачи мы еще несколько раз предавались подобным забавам — не то чтобы очень часто, но все же и не два-три раза. Словом, смогли войти во вкус и, главное, ни разу не попались — взрослых, как видно, магическим образом успокаивал мой недостаточный возраст, окутывая сентиментальным туманом их бдительность. И слава богу.

3.

Надо ли говорить, что воспоминания об этом опыте не только не выцветали по мере моего взросления, но, напротив, словно бы проступали прежде незамеченными гранями. Это было первой моей тайной, первой и единственной в то время — и я хранил ее почти безупречно. Почти, — потому что в первый же год разболтал ее при случае двоим своим школьным друзьям, думая похвастаться перед ними собственной взрослостью. Друзьки, однако, никакой взрослости во мне не признали, напротив, подняли насмех: согласно их представлениям, подсматривать за голыми женщинами — это, конечно, однозначная мальчишеская доблесть, но вот трогать взрослую девушку за неприличное место и давать трогать себя — это уже вещь унижительная, грязная, достойная разве что несмышленного младенца, за которым выносят горшок. Трудно сказать, насколько они были искренни, но я, помню, обиделся. А уже год с небольшим спустя один из этих пацанов как-то невзначай попросил меня рассказать о тех приключениях снова — и я тогда почувствовал, сквозь пелену напускного равнодушия, вполне отчетливый огонек зависти, исправно пожирающий его изнутри. Почувствовал — и конечно же отказал. Не из мстительности, разумеется, а из уважения к себе — я, как-никак, за это время тоже в некотором роде изменился.

Следующий раз на дяди-Славиной даче мы с Анечкой оказались одновременно в год, когда я окончил школу, в самом конце того непростого лета. Поступив в институт, я, помнится, наслаждался небольшой паузой узаконенного безделья перед началом занятий. В Пескушах, как обычно, собралась сама собой компания родственников — хотя и в несколько ином составе, чем в год нашего достопамятного плавания на совместном матрасе: кажется, не было на этот раз такого возрастного разброса (если не брать в расчет самого дядю Славу), да и в целом людей стало меньше. Но это все, в сущности, неважно.

А важно то, что Анечка, которой уже пару лет как перевалило за двадцать, приехала на дачу не одна, а с неким Георгием, молодым человеком, считавшимся как бы ее женихом. Не то чтобы молодые уже объявили где-то свои матримониальные намерения, но вели они себя

довольно раскованно — во всяком случае, Аннушка не стеснялась показывать своего возлюбленного родне, и он, судя по всему, воспринимал это как само собой разумеющееся.

Короче говоря, образовалось некоторое, по преимуществу — молодежное общество, то есть состоящее из тех, кто был на тот момент не старше тридцати пяти.

По всегдашнему обыкновению, день замыкался протяженным застольем, и вот я вижу словно б наяву все это: так называемую кухню — самое большое помещение в доме, в углу которого располагалась печка, — длинный, сколоченный некогда самим дядей Славой стол без скатерти и на нем — всяческая еда и тарелки, а посреди еды, словно бы крепостные башни или колокольни, в бутылках — алкоголь: водка, а также крепленое сладкое марочное вино «Черные глаза». Анечка сидит по левую руку от Георгия, в свою очередь, по левую руку от Анечки — я. Не знаю, почему так вышло. Надо сказать, что прошло уже два дня, как я находился с ними под одной крышей и все это время меня распирало... короче, я чувствовал, что превращаюсь в помидор, час от часу набухающий спелостью, едва сдерживаемой тонкой, гладкой на вид оболочкой. Это было странное чувство обиды, лишенной повода, ревности, запретившей именовать себя ревностью, зависти, в которой сам себе стыдился признаться. В общем, я — страдал, но также и наслаждался своим сладким, как эти самые «Черные глаза», страданием.

Громкий разговор всех сразу со всеми сразу, смех. И вот, на тебе — казус: Анечка протягивает руку и берет бутылку вина, намереваясь налить себе и соседям. Предлагает Георгию (тот отказывается, предпочитая водку), затем наливает себе. Я также протягиваю к ней свой бокал, но девушка демонстративно отодвигает его, а затем и бутылку ставит на недоступное мне место стола.

— А некоторым мальчикам... у которых еще молоко на усах не обсохло... алкоголь больше не положено наливать без разрешения от мамочки!

И тут меня, конечно же, прорывает:

— А некоторые девочки... сами очень хотят стать мамочками... или готовятся уже... но об этом надо Георгия спросить...

Сказав это, я полез отнимать у Анечки ее бокал:

— Не наливаешь мне, тогда отдай свое... тебе, небось, вредно...

Анечка сопротивляется, в результате вино предсказуемо опрокидывается на нее, обильно пачкая блузку.

— Ах, ты... дрянь какая...

— Сама ты сучка... сучье отродье...

Тут Георгий, успевший осушить рюмку, встает со своего места, протискивается ко мне и, схватив за плечо, пытается вытащить из-за стола.

— Что ты сказал, подонок?

Я стараюсь с себя его руку, одновременно подымаюсь и своей свободной рукой, сжатой в кулак, пытаюсь нанести ему удар. Естественно, столь сложной задачи мне не осилить — мы оба падаем, потом подымаемся, и тут нас принимают вставшие из-за стола мужчины. Принимают, выталкивают куда-то в сени, разводят по углам, успокаивают, подавив в себе омерзение. Мы уходим каждый в свою комнату, там собираем вещи и покидаем эти гостеприимные пенаты — сперва Георгий, а я немного позже, после полуторачасового выжидания, — чтобы не столкнуться с ним на железнодорожной платформе.

Что еще? Не помню, сразу ли после этого случая или какое-то время спустя, — но Анечка с этим Георгием рассталась. Во всяком случае, свадьбы у них так и не было.

4. Моннекендам

Моннекендам — маленький городок, километрах, наверное, в десяти от Амстердама на берегу искусственного озера Маркермейр. Когда-то, до строительства дамбы, это озеро было

частью моря, вода была соленая, а не пресная, и местные рыбаки без каких-либо усилий выходили в Ваддензее и дальше, к Фризским островам и в Атлантику. Теперь между Моннекендамом и Атлантикой — две сплошные дамбы, однако море все равно никуда не делось — оно ощущается при каждом вдохе, оно читается в особом приморском беспорядке прибрежной застройки, — когда всякого на берегу охватывает понимание несоразмерности домов, лодок, других человеческих изделий и затей этому бескрайнему пространству воды. И поневоле проступают мысли о хрупкости наших упований, — сколь бы обоснованными они нам самим ни представлялись.

Как-то оказавшись в странное время (шли первые числа января) по делам в Голландии, я решил навестить Анечку, перебравшуюся в эту страну уже много лет назад — не то чтобы я поддерживал с ней связь все это время, но, по крайней мере, знал, у кого спросить телефон. В общем, уже в аэропорту Скипхол я набрал ее номер, и мы договорились встретиться в первый же мой свободный день.

Так и произошло: Анечка — теперь солидная, чуть располневшая, коротко остриженная дама поздне-средних лет — заехала за мной в гостиницу и вместо ожидаемой мною прогулки по Амстердаму предложила съездить «на море», то есть в этот самый Моннекендам.

— У Томаса вдруг обнаружились дела... я-то хотела вас с ним познакомить... а так мы вдвоем лучше по набережной погуляем. Ладно, познакомитесь в другой раз, тебе он понравится, правда.

Мы припарковались возле какого-то странного серо-голубого сооружения технического характера и пешком двинулись в сторону набережной. Не знаю, по какой причине, но вокруг почти не было людей — зато там и тут попадались горы выброшенных новогодних елок: еще вполне свежих, какой-то иной, длинноиглочной, не такой, как у нас, породы. Прямо даже жалко их стало — такие пушистые и ставшие ненужными уже пятого января!

Было прохладно и довольно ветрено, причем ветер был в лицо — мешал говорить. Впрочем, разговаривать и не очень-то хотелось почему-то: мы выбрали к берегу и пошли вдоль него не спеша — изредка Анечка обращала мое внимание на те или иные интересные, по ее мнению, вещи, вроде домов, стоящих на утопленных в воде сваях...

— А живешь ты далеко отсюда?

Она мотнула головой.

— Нет. В Альмере. Это на той стороне озера — отсюда в объезд полчаса на машине, без захода в Амстердам.

— Что за городок? Старинный?

Вновь машет головой.

— Новый. Там все новое. На осушенной части моря. В конце семидесятых построили. Когда мы с тобой в Пескушах на матрасе плавали, они тут новый город возводили.

Я рассмеялся.

— Но я не внакладе.

— Они тоже.

Идем дальше. Какое-то время молчим, затем я решаюсь прервать паузу:

— А здорово, что ты это помнишь... тот наш заплыв...

Анечка кивает.

— Помню. Вернее, не помню, а... в общем, я плохо помню детали, но вот помню...

— Что?

— Помню себя. Себя хорошо помню, как вчера. Чувства, я хочу сказать. Помню свои чувства.

Мы зашли в какой-то ресторанчик, кажется, еще не проснувшийся после Нового года, с двумя медленными добродушными официантками в белых передниках.

— Давай я тебя угощу... что ты хочешь?.. заказывай...

— А что здесь едят?

— Рыбу. Это рыбное место.

Я выбрал что-то, Анечка заказала вино.

— «Дорнфельдер».

— Что это? — я взглянул в винную карту, — оно же красное?

— Ну и что? Зато — местное. Узнаешь, что такое местное вино.

— Голландское? В Голландии делают вино?

— Ага. Немного, но делают.

Какое-то время опять сидели молча, глядя в огромное, во всю стену окно, открытое в сторону воды.

Принесли заказ. Мы пригубили вино («ничего так, да») и стали есть.

— Послушай...

Анечка положила вилку, изобразила внимание.

— Послушай... раз уж ты вспомнила то время... знаешь, мне ведь до сих пор как-то стыдно....

— Стыдно? За что?

— Ну, тогда... и потом — с этим Георгием... ну, я, конечно, понимаю, что был тогда для тебя — почти никто... но все-таки...

Анечка в ответ лишь рассмеялась.

— Глупенький!

— Чего?

— Ну ты действительно ничего не понимаешь.

Я глотнул из бокала.

— Чего тут понимать? Все как у всех. Те наши тисканья на даче — это ведь для тебя было вроде тренировки. Чтобы потом уже с нормальными кавалерами... понимать, что и как...

— Дурачок!

— Что дурачок!

— Ты — дурачок. И ничего не понимаешь. Тренировка.

Она укоризненно покачала головой — я заметил, что лицо ее покраснело: не то от вина, не то от волнения.

— Если хочешь знать, я потом о тебе несколько лет мечтала... воображала, что ты вырастешь и я тебе отдамся... и мы поженимся... Вот, даже интимно тебя воображала. Другие девочки артистов там разных из кино — а я тебя. А уже когда с Георгием этим глупым... знаешь, я тогда так хотела, чтобы ты ему набил морду. При всех. От души. И чтобы потом мы с тобой вместе оттуда ушли, держась за руки. Честно!

Она осушила бокал, отодвинула его на середину стола.

— Все. Больше пить не буду — мне еще рулить. А ты допивай бутылку.

Я подчинился, как тогда, на даче. Доел все, допил этот голландский «дорнфельдер». Анечка все время смотрела на меня молча, улыбалась. И лишь когда я закончил, сделала знак скучающей официантке и, повернувшись ко мне, произнесла:

— А скажи, Костя... ты помнишь, у меня была красивая грудь?... хотя ты маленький был еще, куда тебе... ни черта не понимал, конечно... на самом деле, у меня в молодости была очень-очень красивая грудь, да!

15.01.2023 — 18.02.2023

ДЛИННЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ДЕТСТВА

Шестнадцать лет, семнадцать лет —

Все это было или нет?

Екатерина Горбовская

1.

Городок, в котором я вырос, ночами кутался в звездное небо, будто в ватное одеяло, — мягкая складчатая золотая россыпь, с расточительной неравномерностью разбросанная чьей-то щедрой рукой, словно бы выгибалась над ним аркой, уходя одним краем за черный глухой контур ближних гор. Другим краем ночное небо падало в провальную черноту моря, тускнея и сливаясь с ним где-то у почти невидимого горизонта, едва отмеченного парой огней какого-нибудь неведомого бедолаги-сухогруза, совершающего ночью свой неспешный *малый каботаж*. И лишь в одном месте, там, где днем серая галечная полоска пляжа упиралась в корявое, облюбованное крабами бетонное нагромождение пограничного волнореза, черно-золотая благородная неисчислимость вдруг прорастала буйным многоцветием анемона — наш маленький трудяга-порт шевелил щупальцами горбатых кранов, шарил вокруг прожекторами, сотрясал воздух нечленораздельной селекторной многоголосицей, разносимой услужливым ночным бризом едва ли не по всему городу, вплоть до автобусной станции и топорщившейся за ней уродливой семиэтажной башни санатория «Белая Акация»... Однако звездное небо все-таки оказывалось сильнее портовой какофонии, оно умиротворяло, сулило покой и покров, побуждало верить в будущее и загадывать желания, и черные силуэты наших двухэтажных домиков молча вторили ему желтыми квадратами своих окон.

Городок был, как городок, — нескончаемая белолштукатурная череда аляповатых *здравниц всесоюзного значения*, затем единственная, по сути, широкая улица, идущая вдоль набережной, — по ней обычно в послеобеденные часы слонялись взад-вперед одуревшие от пляжного лежания *отдыхающие*; хлебозавод, милиция, почта, две поликлиники, из которых в одной, сколько себя помню, обязательно шел пыльный ремонт, пахнувший ацетиленом и известкой...

...Зимой было промозгло и слякотно, порою по несколько дней кряду сыпался мокрый снег, от которого, казалось, не в силах спасти никакая одежда, — по улице передвигались, высоко подняв воротники и не вынимая из карманов рук... да и вообще старались, сколько можно, не выходить из дому без нужды — все словно бы застывало в каком-то анабиозе, в смутном предчувствии того, что на этот раз март, вопреки календарю, не наступит вовсе.

Тем не менее, март наступал. Мало-помалу начинало теплеть, и к середине апреля — дней за десять до появления первых курортников — воцарялась сушая благодать: завершив суматошные приготовления, городок вдруг затихал, словно бы невеста перед свадьбой. Теснились у пирса свежеподкрашенные прогулочные теплоходики, чистыми и пустыми столами хвастались сквозь умытые окна столовые и кафе, а полосу прибрежной гальки силами солдат близлежащих воинских частей старательно освобождали от полусгнивших за зиму кукурузных огрызков, обрывков прошлогодних газет, спаявшихся в аморфную массу полиэтиленовых пакетов и шершавых палочек от съеденного когда-то мороженого. В двух или трех самых ответственных местах — там, где городской пляж вплотную подступал к мраморной лестнице, дававшей начало улицы Защитников перевалов, — эту галечку даже подсыпали, пригнав несколько самосвалов откуда-то со ставропольских карьеров. (Отдыхающие потом все лето развозили ее по стране — разумеется, в качестве *морских камушков*, а как же иначе?..)

Той весной я оканчивал десятый. Впереди, в непосредственной близости, маячили выпускные экзамены, диковинные и тревожные, — последующее же таилось в крошечном тумане неизвестности. Впрочем, одно только виделось мне тогда наверняка — дома я не останусь в любом случае. Дальние большие города манили меня америкой своих улиц — и непреодолимость этой тяги отзывалась в моем сердце каким-то сладким и спелым покоем.

Все же в нашу вторую школу я ходил теперь едва ли не с большим энтузиазмом даже, чем все предшествующие десять лет. Причин тому было, понятно, несколько, причем среди двух или трех вполне рациональных было и абсолютно непонятое мною тогда *нечто*, вернее всего передаваемое поговоркой «перед смертью не надышишься». В самом деле, откуда мне было знать в то время, что стаффаж выпускной фотографии нашего десятого «Б» — даже с учетом отсутствовавшего Витки Смородина, нестати схватившего накануне выпускного бала грипп, — не будет полностью воспроизведен теперь НИКОГДА. Вообще — никогда. Просто потому, что такого не бывает. НИКОГДА НИ У КОГО — и это обстоятельство, увы, непреложно, как смерть. Но ведь не о смерти же мне тогда думалось?

Примерно к двадцатому апреля по большинству изучаемых предметов программа десятого класса оказывалась исчерпана, и учителя, в преддверии экзаменов, принимались повторять тему за темой, всякий раз стараясь свести повторяемое к набору формулировок, легко конспектируемых для последующего запоминания и воспроизведения. Смещение дидактических акцентов и интонаций даже для нас было столь очевидным, что в обросших кликухами и неприличными частушками учителях мы вдруг впервые в жизни увидели, почувствовали союзников.

Однако вовсе не нужда в подготовке к экзаменам тянула меня по утрам в школу сильнее прочего. Как это нередко случается в семнадцать лет, все обстоятельства на свете превосходило одно-единственное — желание видеть рядом с собой соседку по парте — Аннушку Элланскую, в которую я был влюблен уже месяца как три или четыре.

Стоит сразу сказать, что *ничего такого* между нами тогда еще не произошло, о чем из сегодняшнего далека я вспоминаю не иначе, как с явным сожалением. Все-таки основой тогдашней нравственности, как ни кинь, было элементарное невежество, заставлявшее деток из приличных семей *душить прекрасные порывы* в самые неподходящие для этого моменты.

Как бы то ни было, в школу я в те дни летел, едва не поперхнувшись завтраком, и приходил всякий раз минут за десять до начала первого урока — дисциплинарный результат, воистину немыслимый при моей и поныне неистребимой склонности к опозданиям, — но уж что было, то было!..

Аня, напротив, обычно появлялась за минуту до звонка, а то и со звонком вместе. Торопливо протискиваясь в класс, она всегда с порога отыскивала меня каким-то трогательно-беспомощным взглядом, словно бы извиняясь, что не пришла раньше, и, поймав этот чуть смущенный взгляд, я, в свою очередь, успокаивался тоже — несколько мгновений спустя мы уже сидели рядом, и укрытая исцарапанной столешницей парты от досужих глаз левая моя ладонь томилась, вдыхая юное тепло девичьего бедра, увы, лишь сквозь плотную материю форменного школьного платья.

Историю в выпускных классах у нас преподавал массивный седовласый мужчина по фамилии Кабанов и по кличке, разумеется, Хрюндель. Вся школа знала, вернее — считала, что знает о том, что Хрюндель — Хотя каких-либо подобающих этому диковинному статусу особенностей облика или поведения Хрюнделя никто из нас никогда не замечал — да и едва ли, говоря по правде, имел сколько-нибудь определенное представление о том, что именно должно было быть в этом случае замечено. Однако молва, разумеется, оказывалась сильнее

опыта, и всякий из нас с важностью произносил, как само собою разумеющееся: «Хрюндель —, «потому, что Хрюндель — и иное, тому подобное.

Впрочем, помимо, Хрюндель выделялся на общем фоне нашего курортного захолустья еще и некоторыми другими вещами. Во-первых, он был действительно хорошим историком. Во-вторых же, из его собственных обмолвок, а также обмолвок его коллег-учителей мы постепенно уяснили, что когда-то прежде Хрюндель жил в Москве и работал в МИДе. К нам же он попал «по состоянию здоровья»: врачи, дескать, выяснили, что Хрюнделю *вреден север*, и настоятельно посоветовали сменить место обитания.

Как я уже сказал, Хрюндель был хорошим учителем истории — знал и любил свой предмет, умел *держат* класс и, несмотря на специфическую ауру, не допускал в отношении себя каких-либо унижительных провокаций. Разумеется, как всякий такого рода школьный преподаватель, он был окружен некоторым количеством любимчиков (в невинном, само собой, значении этого слова) — одно время в этот кружок была вхожа и моя Аннушка, я же почему-то всегда старался держаться от Хрюнделя на некоторой дистанции. И это притом, что успевал по истории весьма неплохо. Впрочем, я, стоит признаться, вообще хорошо учился в старших классах.

Как бы то ни было, сколько-нибудь неформального, личного общения с нашим учителем истории я, кажется, не имел ни разу. Ни разу — вплоть до того странного дня, о котором, собственно, и собираюсь здесь рассказать.

Тогда повторяли Великую Отечественную — сорок четвертый год, если уж быть совсем точным. Хрюндель распинался возле огромной, протертой в двух местах насквозь, клеенчатой карты; заправски, что твой Жуков, орудовал эбонитовой указкой, вычерчивал мелом на доске названия фронтов и операций округло-каллиграфическим почерком учительницы младших классов. Мы, однако, его почти и не слушали: обреченные строгим ментором на пыточную взаимную немоту во все продолжение урока, привычно вынуждены были развлекаться, так сказать, самодельной пантомимой. В тот, например, день Аннушка приволокла зачем-то маникюрные ножнички — почти что кукольные, с синими пластмассовыми колечками для пальцев, — минут через двадцать после начала урока она достала их из своего портфельчика и, нацепив на правую руку, пошла этой рукой по парте в мою сторону, словно вооруженная секатором каракатица. Я едва сдержался, чтобы не прыснуть хохотом, но в следующий момент нашелся подставить наступающим ножницам уголок страницы учебника. Еще через миг этот кривоотрезанный треугольный уголок с сиротливой карандашной пометкой был сдут со стола на пол, а живые ножницы двинулись дальше. Пришлось встретить их голой рукой — завязалась борьба ладоней и пальцев не на жизнь, а на смерть, в результате чего ножницы перешли, как и следовало ожидать, в полной мере под мою юрисдикцию. Теперь обороняться пришлось Аннушке — ей, однако, это было делать совсем не просто, ибо кроме самих ножниц в мои трофеи попала и ее правая рука также — детски-мягкая, теплая и немножко влажная. В общем, я был воистину необуздан и успокоился лишь после того, как сумел отхватить от орехового водопада Аниных локонов (косу она перестала носить как раз ради меня — месяца за полтора до этого) маленькую, прихотливо изогнутую прядь.

Этой вот волосяной запятой мы и играли самозабвенно в гибрид футбола с бильярдом прямо на поверхности парты в тот миг когда... когда, казалось, прямо над нами едва ли не глазом божьим раздалось безжалостное:

— Водолеев!.. Ну-ка расскажите теперь *вы* нам о военно-политическом значении Яско-Кишиневской операции...

Я лениво поднялся. Хрюндель по-прежнему стоял на своем обычном месте, у доски возле карты. Про Яско-Кишиневскую операцию я, понятно, едва ли мог сказать что-нибудь определенное и потому лишь растерянно кашлянул:

— Я, Арсений Евгеньевич... мне как бы не совсем понятно... то, что вы сейчас объясняли... выход из войны Румынии...

Должно быть, голос мой был подобен бляню. Бляню ягненка, задумавшего укусить овчарку. Хрюндель глядел на меня со своим обычным вопросительным жестом — легонько постукивая себя по левой ноге указкой. Вокруг — невнятным морем — колыхался класс, перед которым, как мне казалось, я был *ни за что* выставлен на посмешище. Хрюндель глядел на меня пристально, и в его взгляде я, неопытный, разглядел вместо досады почему-то лишь упоение властью.

— Что ж, Водолеев, оно и не мудрено... в вашем положении... Однако ж, хочу вам сказать, что общепризнаваемая неотразимость вашей соседки может стать, при подобном развитии событий, серьезным препятствием для вашего поступления... на журфак, если я правильно понял вашу матушку...

Господи! Что же такого я умудрился расслышать в этих словах? Какие обиды смертельные, какие унижительные укоризны? Что соскочило тогда в моем мозгу с накатанной дороги школьного всеспасающего конформизма? Почему?

Однако же что-то произошло — что-то, прежде мне не знакомое. Какое-то абсолютно новое чувство в секунду наполнило меня всего, и я тогда не ведал, что чувство это называется — гнев.

— Конечно... конечно, Арсений Евгеньевич... с вашей точки зрения... но ведь я же не, как некоторые...

Мир не обрушился грудой стеклянных осколков. Все осталось по-прежнему, изменилась лишь оптика моего восприятия — я видел теперь все словно бы через короткофокусный объектив: и затаившийся в странном восторге класс, и ставшее вдруг крупным лицо Хрюнделя. Я видел, как мелок в его правой руке два или три раза вдавился зачем-то, крошась, в коричневую плоскость доски... Время текло теперь, как в фантастическом фильме про космос, — мелькали столетия за столетиями, а я все стоял и глядел на замолчавшего Хрюнделя. Наконец какая-то новая, иначе устроенная волна гнева подхватила меня и поволокла, задевая чьи-то сумки и портфели, прочь из класса. И лишь на улице, за пределами школьной ограды оставила меня наконец в покое — если только можно назвать покоем то жалкое и неустойчивое состояние духа.

Солнечный свет пустынных в ту эпоху всеобщей и полной занятости слепополуденных улиц жалил меня оводом. Спасаясь, я бросился прочь от школы — без какой-либо цели и вообще без какой-либо определенной мысли в голове — лишь бы двигаться, переставлять ноги, унимая хоть как-то литровые выплески адреналина в крови.

Едва ли я сейчас помню в точности тот свой маршрут, — кажется, я спустился вниз по Калининской, мимо пожарной части — так, по крайней мере, было короче, — миновал столовую «Буревестник» и в этом случае уже минут через пять, от силы — десять должен был оказаться у моря. Помню, что у моря я и оказался — с решительным хрустом пересек прибрежную гальку и, дойдя до узкого серого, омываемого ослабевшими саженками волн, гладкого песчаного языка, встал как вкопанный. Дальше идти было в общем-то некуда. Берег кончился, ничего интересного я не увидел и в море — оно пахло всегдашними гнилыми водорослями, покачивало в смешной для приличного пловца близи оранжево-ржавые каплеобразные буйки. Даже чайки куда-то исчезли все...

Предательски набежавший вдруг прозрачно-пенистый водяной блин вырыл маленькие ямки вокруг моих ног, следующий его собрат простерся еще чуть дальше и, отступая, не преминул захлестнуть туфли — я почувствовал, как тут же вымокли носки, и, возможно, благодаря этому мало-мальски взбодрился. Во всяком случае, я, наконец, сдвинулся с места — сдвинулся

и медленно пошел, понунив голову, вдоль самой кромки воды, нимало не заботясь уже ни о состоянии обуви, ни о том, чтобы остаться незамеченным.

2.

Не следует, однако, думать, что вышеописанное *приморское дефиле* было так уж начисто лишено целесообразности — сиречь, точки назначения: места, куда, в конце концов, должны были привести меня вымокшие мои туфли. Не составляет и большого труда обнаружить это место на нашем районном глобусе: конечно же, я слинял тогда на *Скалы*, куда же еще!

Именно на Скалы: так называли мы самый, по общему мнению, укромный уголок побережья — примыкавший непосредственно к *ближнему заповеднику* закрытый пляж санатория «Полярный». Этот санаторий, по ведомственной принадлежности относившийся к странной организации с названием «Севвостгео», почему-то начинал сезон лишь в конце июня, когда в него одновременно заезжали на двух туристских автобусах худошавые бледные люди. Выгрузившись, они, не обращая внимания на море, дисциплинированно рассасывались по номерам и, проспав там безвылазно сутки, отправлялись затем в город сорить деньгами.

А до того добрую треть лета, отделенный со стороны города двухметроворостым проволочным забором (мы, конечно же, знали в нем подходящую дырку!), совмещенный с пляжем *нижний* парк «Полярного» пребывал в образцово-первозданной нетронутости — сверкал гипсом статуй в восковой оправе олеандров — ни дать ни взять, этикетка какого-нибудь «Боржома» или «Нарзана»! Лишь сторож — сорокалетний дядя Миша — в утренние часы восседал у воды в своем неизменном синем шезлонге и из-под надвинутой на глаза ковбойской шляпы лениво провожал взглядом нас, браконьеров. В ответ на это попустительство мы обычно угощали дядю Мишу сушками, сигаретами, стаканом домашнего вина или еще какой-нибудь детской ерундой.

Скалами же данное место величалось за россыпь разнокалиберных камней (вплоть до небольших скал, собственно), романтичным хаосом спускавшуюся к воде в дальнем конце пляжа, у самой границы заповедника, — вообще говоря, формального пляжа там уже не было — никаких тебе буйков, кабинок — однако никого это, понятно, и не останавливало: загорать на отполированном морем каменном ложе, нырять с него сразу на глубину было не в пример соблазнительнее, чем тереться отлежалыми боками об острую мелкую гальку. Так что, уж коли кто-то из нас решался на очередную сущечную взятку дяде Мише, то ради того только, чтоб, проскочив стремительно мимо гипсовых шахтеров и иссякших навеки фонтанов-руса-лок, исчезнуть затем именно здесь, в свободном от каких-либо минотавров каменном лабиринтике...

Из сказанного с очевидностью следует, что среди этих самых скал я и решил тогда переждать означенный наплыв душевных бурь, уподобившись, как видно, той же русалке: грустен, молчалив и невинен. А вместо покрытого рыбьей чешуей хвоста — постылый форменный пиджак и ненавистный галстук, всякий раз непременно сбивающийся набок вопреки моим судорожным стараниям. Впрочем, от пиджака я тут же избавился — свалил его неаккуратной кучей позади себя, едва устроившись на длинном и плоском, наполовину уходящем в воду камне, местным наречием прозванном «Сучьим Лбом» или просто «Сучьим». Здесь был естественный *терминал*, конечный пункт моего бегства — и здесь я, наконец-то, смог перевести дух.

3.

Море было рядом — в каких-то двадцати-тридцати сантиметрах. Пахло своим особым живым запахом, напевало что-то невнятное лишенной ритма неутомимой рябью... Лежа ничком на каменной плоскости, я протянул руку, дотронулся до воды, черпнул ладонью пригоршню — неподвластная прохлада тут же скользнула сквозь пальцы прочь. Еще более подтянувшись к краю, я опустил тогда правую руку в воду уже по самое запястье и замер в этой позе минут на пять. Было приятно — шевелиться не хотелось вовсе: казалось, вся беспокойная, злая энергия бесшумным потоком, как кровь в лабораторный капилляр, уходит теперь из моих пальцев в эту прозрачную, бесконечную зыбь, способную вместить все на свете и все на свете принять. Даже захотелось почему-то, чтобы кто-нибудь сейчас укусил меня за руку там, внизу — какая-нибудь быстрая рыба, не знающая преград и границ, — шутя доплывающая от нашего постылого берега до самой Румынии или Турции.

Я, должно быть, впервые пришел сюда в этом сезоне — радость новой встречи с забытым за зиму раем легко — в каких-то полчаса, не более — преодолела давешнюю сумятицу, оттеснив школьные проблемы сперва в запасник *неопределенно-долговременных обстоятельств*, а затем и вовсе куда-то на периферию реальности. Не то чтобы я вовсе перестал думать о случившемся, — конечно же, нет, не перестал ни на миг, — однако думы эти теперь приняли характер отвлеченных рассуждений о свойствах бытия — именно тех рассуждений, которыми так любят занимать себя семнадцатилетние мальчики.

В общем, скажу без обиняков — мне стало хорошо. Притом, что по-прежнему было грустно. Грустно и тревожно — и хорошо, как может быть только в семнадцать лет, а потом уже — никогда.

Повинуясь не поддающейся распрямлению цепи ассоциаций, я вспомнил сперва почему-то поездку в Краснодар с матерью прошлой осенью, затем соседа Мироныча, объевшегося жареных мидий и попавшего по этой причине в больницу, затем еще что-то и что-то другое — и с неизбежностью в какой-то момент — мою Аннушку: представилось, как она, стоя рядом с партой и почему-то вполоборота ко мне, сперва поправляет волосы у себя за плечом, потом отводит слегка голову влево и, смеясь, энергично вертит ей отрицательно, — отклоняя в очередной раз какую-то мою безалаберную настойчивость.

Устав лежать, я согнул руки в локтях и, оттолкнувшись от теплого камня, сел, спустив ноги вниз, на гальку. Хаос мелких камушков принял меня с легким шуршанием, едва различимым для уха, однако достаточным, чтобы вспугнуть коричнево-синего краба-подростка, нежившегося в тени соседнего валуна, на самой ее границе, — я и заметил-то его, лишь когда что-то бурое и многоногое боком метнулось к ближайшей расщелинке и забилося туда, выставив наружу два волосатых членика одной из конечностей.

Иных живых существ вокруг себя я не обнаружил — даже вездесущие мухи почему-то отсутствовали напрочь. Не зная, чем себя занять, я разулся, снял подмокшие носки, попытался их отжать, затем засунул, скомкав, обратно в туфли, после чего водрузил последние на «Сучий» рядом с пиджаком и галстуком — получилось, ни дать ни взять, некоторое подобие *монумента школьной несвободе*. Точнее, монумента *преодолению* школьной несвободы — или даже заведомой *обреченности* такового преодоления. Впрочем, меня тогда едва ли трогал анализ подобных материй...

Делать было по-прежнему решительно нечего. Просто так уходить, однако, тоже было не с руки как-то — что-то внешнее должно было выбить меня из этой пленительной западни, одарить движением, смыслом, делом. И это «что-то», как и подобает в семнадцать лет, не замедлило явиться, причем, явилось, разумеется, в наиболее роскошном из всех возможных вариантов.

Облака парили над морем и городом редкой ажурной стайкой, рассыпаясь в солнечных лучах. Я глядел на них, лежа на спине и подсунув под голову сложенные в замок руки. Если бы я

выдернул руки из-под головы, то несомненно достал бы до этих полупрозрачных ягнят неровно обстриженными кончиками ногтей. Но шевелить руками было лень, и я продолжал сохранять свою блаженную неподвижность. Облака были неподвижны также, и вокруг них словно бы вились ворохом мои мысли — мысли обо всем подряд: о предстоящих экзаменах и об университете, о двухдневной дороге в Москву в плацкартном вагоне и даже о Яско-Кишиневской операции — именно о ней я, кажется, и думал в тот самый момент, когда знакомый голос окликнул меня по имени откуда-то совсем рядом.

4.

Верная моя Санчапанса нетерпеливо стояла среди камней шагах в тридцати, держа в левой руке забытый мной в школе узкий «дипломат» с кодовым четырехсекционным замочком — предмет особой зависти одноклассников и, соответственно, хозяйской гордости безграничной. Собственная же школьная сумка по этой причине висела у Аннушки не на левом, как обычно, а на правом плече, что ей было, как я знал, неудобно. Да и вообще — идти через город с двумя портфелями было донельзя нелепо — я, разумеется, заметил это — не мог не заметить, — но вместо сочувствия и благодарности испытал тогда лишь досаду: досаду того же рода, что возникала всякий раз, когда Аннушка в чем-то нарушала своим обликом мои инфантильные представления об идеальной женственности.

Стало быть, я очнулся от своей медитации, поднял голову и, увидав рядом Аннушку, воспринял это как само собою разумеющееся. Мы всё тогда, наверное, воспринимали как само собою разумеющееся — и потому, *воссоединившись на фоне морского прибоя*, вовсе не *утопили друг друга в объятиях* подобно романтическим киногероям, а чинно сели рядом на край «Сучьего» и потом какое-то время смотрели молча, как прямо под нашими ногами, в пролизанной за века выщербленности, досужая водяная нервотрепка колышет нептунью бороду водорослей.

Было ощутимо жарко, несмотря даже на снятый пиджак, два самых пьянящих на свете запаха — чистого весеннего моря и слегка вспотевшей от быстрого движения семнадцатилетней женщины — дразнили мои бедные ноздри... В этом гиперсенсорном аду ни одна мысль напрочь сорвавшегося с обыденных якорей мозга не позволяла удерживать себя более двух секунд кряду, дразня недогаданными желаниями, как августовский звездопад...

— Ну?... Чё там?... Хрюндель икру мечет?... — глядя в сторону и насупившись, я изо всех сил старался придать бывалой суровости своим интонациям, — Мать в школу вызвал, небось?

Подсознательно хотелось услышать в ответ что-нибудь чудовищное — вроде обещания гарантированной тройки за выпускной экзамен. Или вызова на дуэль. Вместо этого я удостоился, однако, лишь отрицательного покачивания головы:

— Не... ничего... так все затихло как-то... само по себе... он потом Мишку спрашивал... про ту же Яскую операцию...

Мишка Курбатов был наш самый отличник — маленький и лопоухий. Героический пафос, таким образом, оказался вконец профанирован. Словно бы предвосхитив это мое разочарование, Аня придвинулась ко мне вплотную и взяла за руку:

— Он все забудет за неделю... Не волнуйся...

Я попытался, сколь мог — недоверчиво, хмыкнуть в ответ — получилось что-то, напоминающее всхлип или даже сморкание: несолидный такой звук.

— Не забудет... Нет... Пидорасы злопамятны. И мстительны. Помнят всю жизнь.

Хотелось, конечно же, еще чуток понежиться — когда еще доведется! — в лучах этой жалостливой безысходности:

— Вот увидишь... он обязательно мне отомстит... На экзамене. Поставит банан или треху. Найдет, на чем завалить...

Аннушка слушала меня с каким-то странным сочувствием: не соглашаясь, но и не возражая внутренне — а словно бы пропуская мимо себя сомнительность умственных моих построений. Так умеют слушать почти одни только женщины и редкие из мужчин, перешагнувших пятьдесят.

— ...или пацанов своих подговорит... устроят мне «темную» где-нибудь на улице...

Меня явно несло — как потерявший управление мотоцикл:

— ...может, стоит убраться из города даже... не дожидаясь... уеду в Москву, устроюсь работать... пока все затихнет...

Кажется, я сам не вдумывался в собственные слова — и уж едва ли верил тому, что говорил, это точно:

— ...или даже в армию загребут... ну и что... наплевать... попрошусь даже в Афган добровольно...

Неизвестно, сколь долго могло бы длиться подобное — но всему, слава богу, приходит конец, даже юношеской дури: и вот Аннушка, устав, как видно, внимать моим излияниям, вдруг оторвалась от созерцания играющей с солнцем воды и, посмотрев мне в глаза, сказала всеохватно и непререкаемо:

— Ду-ра-чок...

— Сама дурачок!..

Я как бы обиделся и обрадовался одновременно — еще один сенсуальный оттенок, практически немислимый в более зрелые годы.

— Нет, я сказала — ты дурачок!.. Мой глупый дурачок — глупый-глупый дурачок!..

Закончив фразу едва ли не шепотом, она шутливо замахнулась на меня кулачком — по-женски, держа руку наподобие маленького молотка. Я вновь, как и на давешнем уроке истории, перехватил эту руку, каким-то бесцеремонным, меня самого удивившим движением рванул ее на себя, и в следующий миг мы уже целовались. А еще миг спустя повалились боком на камень, поскольку невозможно как следует целоваться с девушкой, сидя с ней локоть к локтю и свесив ноги вниз.

— Ты просто дурачок и не понимаешь ничего в жизни!..

Шампанское женского аромата вело мой мозг в неминуемый нокаут. Голос предков заговорил во мне теперь и принялся действовать, требовательный и всесильный, — но увы! Едва лишь я скользнул ладонью в потаенную пазуху Анькиной голубой сорочки, нащупав подушечками пальцев самый тонкий на свете вельвет ее кожи, как объект моего напора вдруг вывернулся с изумительной ловкостью из объятий и, со смехом отстранив меня, откатился прочь. Неподвластным сознанию боковым зрением я отметил почему-то высохшую елочку пустышки-водоросли, невзначай прилипшую к Аннушкиной спине чуть пониже правого плеча..

Теперь нас разделяло около метра. Но если б дело было лишь в геометрическом расстоянии! Иное, неизмеримо большее преткновение возникло теперь — и возникло сугубо по моей вине только. Говоря короче... в общем, со мною, бедолажкой, средь бела дня случилось то, что доселе происходило лишь по ночам, да и то не особенно часто. Надо ли пояснять, сколь сильно я был обескуражен этим проступком моего тела и сколь тщательно прилагал старания, дабы таковую обескураженность скрыть, — впрочем, как раз последнее было ой как непросто, ибо судьба, казалось, принялась насмехаться надо мной с неисчерпаемой задорностью пионера-пятиклассника. В самом деле — только лишь я, отдышавшись и приняв, наконец, сидячее положение, вознамерился произнести что-нибудь, имеющее целью отвлечь Аннушку, да и меня самого от постигшей неудачи, как тут же ушей моих настигли звуки более чем неожиданные:

— Давай сейчас купаться, Кира, а?..

Я вздрогнул от удивления:

— Когда? Сейчас?

— Ну, да. А что тут такого? Вода уже теплая совсем... и потом на солнце все высохнет... быстро...

В принципе, она, конечно, была права — море почти прогрелось, однако среди нас, местных жителей, купаться при таких температурах считалось как бы ниже своего достоинства — это был всегдашний удел дикарей-северян, несчастных одиночек, промахнувшихся с отпуском мимо сезона. Впрочем, соображал я в тот момент исключительно туго.

— Ты что — купальник с собою взяла?

— Зачем? — Аннушка смотрела теперь мне прямо в глаза взглядом, затаившим лукавство. Солнечный свет ласкал ее лицо, мягкую округлость щек с проступившим, как мне показалось, слабым румянцем.

— Можно и так просто: никого ведь нету...

— Не хочу... еще холодно... — голос мой звучал с деланным ворчливым безразличием, — Я пробовал воду... не по кайфу совсем...

— Ну, тогда я одна... дурачок...

И она принялась раздеваться. Я подхватил брошенную мне сорочку, темно-синяя юбка обручем скатилась вниз, на камень. После этого Аннушка, встав ко мне вполоборота и прогнувшись вперед, расстегнула пряжку бюстгальтера и стряхнула его с себя, как нечто чужеродное. То, что прежде бывало лишь добычей моих рук и изредка губ в потемках пустой раздевалки школьного спортзала, теперь досталось и глазам, породив во мне новую, замешанную на восторге, волну обескураженности. Впрочем, я всем своим видом старался изобразить равнодушие — как все равно *большой и пожилой*. На это мое якобы бывалое равнодушие Аннушка ответила, в свою очередь, взглядом ироничным и веселым и лишь самую малость застенчивым, — словно бы и она также обнажается передо мной не в первый, а в сто семьдесят первый раз. Надо ли говорить, что сердце мое тут же сжалось в ответ пароксизмом сладкой зависти, испытанной мной тогда, после и многократно потом с не ослабевающей ни на грамм силой, основанной бог знает на каких древних инстинктах. Зависти к смелости женщины, отдающей свое тело глазам мужчины, — зависти принижающей и возвышающей в одно и то же время!

...Податливый ковер морской глади расступился мелочью брызг — Аннушка решительно оттолкнулась от края камня и, сумев удержать голову над водой, дабы сохранить сухими волосы, быстро отплыла метров на пятнадцать-двадцать в сторону широкими мужскими саженками. Обернувшись лицом к берегу, она что-то крикнула мне неразборчивое, показала зачем-то сперва одну высунутую из воды ладошку, затем обе сразу, после чего столь же быстро поплыла назад. Я помог ей выбраться.

— Действительно, холодная еще... бр-бр-бр... а кажется, что уже согрелась... из-за солнца, наверное так...

Вся Аннушкина кожа: на руках, на плечах, на спине, вокруг маленьких розовых сосков — тотчас же покрылась гусиными пупырышками. Ситец трусиков, сделавшись от воды почти прозрачным, властно требовал мой глаз проступавшим сквозь него впереди черным пятнышком неизведанности...

Спасаясь от холода, девушка набросила прямо на мокрое тело мой бесхозный пиджак, затем, скатав трусики валиком вдоль бедер вниз, взяла их в руки и принялась отжимать какими-то привычными донельзя движениями — так, словно бы это была тряпка для стирания мела с доски, споласкиваемая дежурным по классу. Я дышал прерывисто, как полузarezанная овца...

5.

В сущности, едва ли многое изменилось во мне с тех пор. По большому счету, я все такой же — семнадцатилетний мальчик, стоящий на пороге чего-то неизведанного и сияющего,

называемого *взрослой жизнью*. И потому вспомнить мне сейчас те свои чувства — какая-то пара пустяков, да и только.

Конечно же, главенствовало тогда (да и после потом — повторяясь еще несколько раз при сходных же обстоятельствах) странное ощущение собственной невыводимой инфантильности, что ли. В самом деле, еще какой-то час назад мы вдвоем были лишь парой слегка сошедших с ума десятиклассников, томящихся под несообразной южному климату броней школьной формы. И вот, стоило Аннушке сбросить эту форму с себя прочь, как милый лягушонок превратился в царевну — в *настоящую взрослую женщину* с длинной «дворянской» шеей, правильной красивой грудью и узкой талией — какие бывают в иностранном кино только, и какие, безусловно, достойны настоящих мужчин, взрослых героев-любовников, а не таких, как я.

А я... я остался тем же, кем и был, — нелепым девственником с едва пробивающимися усиками, к тому же сподобившимся выпачкать исподнее!

...Вообще же, способность женщины, обнажаясь, преображаться никогда не перестанет меня удивлять. Будь вы кто угодно: скульптор, гинеколог, Дон Жуан или все трое в едином лице даже, — вам никогда не угадать в воображении того, что вы увидите, когда подруга ваша останется лишь в первозданной своей красоте, — включая, разумеется, и неизбежные у каждой живой женщины отклонения от пресловутого античного стандарта: какой-нибудь искривленный пальчик на ноге, нелепую родинку или чуть асимметричную грудь. Этот искривленный пальчик, кстати сказать, и будет потом, являясь в сонме воспоминаний, вытягивать за собой все то, на что горазда ваша фантазия, — и он же станет центром кристаллизации странного ощущения, которое лишь весьма неточно может быть названо сочувствием или состраданием, и которое, в конечном счете, является необходимым зерном того, что мы привыкли называть *привязанностью*.

Ну, да хватит об этом...

6.

Два часа спустя мы брели по улицам городка, поднимаясь от набережной вверх: расходиться по домам и вообще — расставаться, понятно, ничуть не хотелось. Придумать же себе подобающее занятие не удавалось тоже — ничего интереснее моря, как известно, не бывает, но у моря мы уже насиделись вдоволь.

Выручила, как водится, всегдашняя физиология. Сиречь, желание *питаться*, пронзившее наши организмы синхронно и обоюдно. Я не помню даже, кто из нас именно произнес это первым вслух — но, как бы то ни было, слово было сказано и, в полном соответствии со всепобеждающим учением старика Павлова, вызвало вторичный шквал желудочного сокоотделения. Короче говоря, оставалось только определиться с местом, то есть выбрать одно из немногих открытых уже заведений курортного общепита — ибо идти ужина ради к кому-нибудь из нас домой значило с неизбежностью приблизить момент расставания. По крайней мере, нам так казалось.

Собственно, выбор был предельно узок — поблизости имелась чебуречная, работавшая круглый год, но почему-то единодушно нами отвергнутая. Затем возле кинотеатра была еще пашлычная «Тамара», меню которой, однако, не вписывалось в наши карманные капиталы. В итоге, нам оставалась лишь блинная на улице Шаумяна, официально именуемая почему-то «диетической столовой номер четыре». Это было в двух шагах, и ноги привели нас туда едва ли не быстрее, чем мысли.

Квадратные столики, расставленные в шеренгу по три, были пусты все как один и даже — за несколькими исключениями, обнаруживающими былых едоков парой грязных стаканов

и тарелками с брошенными в них скомканными квадратиками нарезанной оберточной бумаги, заменявшей салфетки, — сравнительно чисто вытерты. Две дородные подавальщицы — одна за массивной раздаточной стойкой, другая за кассой — явно скучали, в сотый раз, должно быть, обсасывая в пустотелой беседе одни и те же нехитрые свои жизненные будни. Тем не менее, появление наше они встретили вполне единодушно — взглядами, полными молчаливого презрения и досады. То был, если кто не знает, признак вящего профессионализма: почетной принадлежности к сытой касте тогдашних *работников сферы продовольственного снабжения и общественного питания*.

Как бы то ни было, мы взяли двойную порцию блинчиков со сметаной (для меня) и двойную же, но с кизилковым джемом для Аннушки. Запить мы все это решили, если кому любопытно, напитком, обозначенным в меню как «кофе с мол.» Входил ли в его состав кофе и добавлялось ли туда молоко, сие знание для науки навеки утеряно, но вот вкус такого пойла я стану помнить до конца дней моих. Хотя все же не вкус, наверное, — а всегдашнее его предвкушение, едва заметный танец нервных окончаний в момент, когда ладонь касается ребристой округлости маленьковского толстостенного стакана или когда глаз пленяется нависающей над краем стекла матовой струйкой остывающего пара...

— Я здесь с прошлого года не была... странно даже... — говоря, Аннушка не переставала жевать, отчего голос ее обрел какую-то мужскую глуховатую сочность; — И даже не вспоминала, что существует эта тошниловка!.. правда, ведь странно, да, Кира?.. о чем-то не вспоминаешь — и как бы нет его вообще, а потом вспоминаешь — и оно возникает на самом деле!..

Я — также с набитым под завязку ртом — лишь кивнул в ответ:

— Угу... и еще год не придешь теперь сюда, это как пить дать... через неделю здесь уже очередь будет стоять до угла до вон того...

Теперь кивнула Аннушка.

— Будет...

Мне нравилось смотреть, как она ест. Ловить взглядом движения чуть пухлых, темно-вишневых губ, какие-то минутные напряжения мышц щеки, следить, как указательный палец направляет в остывшем и приторном блинном развале плоскую алюминиевую вилочку.

— А ты знаешь, из чего делают блинчики?

— Ы-ы... — Аннушка мотнула головой.

— Значит, не знаешь?

— Не, не догадываюсь даже... — она чуть не поперхнулась, — А из чего же, по-твоему? Вместо ответа я уставился сосредоточенным взглядом в полупустую тарелку.

— Так из чего ж, из чего? — недопроглоченный блинчик едва не выскочил у Аннушки из рта, — Небось, гадость какую-нибудь скажешь опять... чтоб аппетит пропал... да, Кира?.. так ведь?

Я поднял глаза:

— Блинчики, чтоб ты знала, издревле делали с помощью задниц красавиц. Раскатывали тесто вокруг чисто вымытых попок самых красивых девушек — и затем уже запекали...

— Ты свинья, Кира...

— ...это было ритуальное блюдо в своей основе — по гладкости блина, отсутствию пупырышков и сгустков определяли гладкость кожи девицы... было очень важно при поиске жениха...

Аннушка поковыряла презрительно в своей тарелке, затем опустила вилку на стол и сложила руки одну на другую, словно бы прилежная первоклассница.

— А еще что придумаешь, дорогой мой?

— Еще ничего... просто... просто, разглядывая выданные нам блины, мы можем составить некоторое представление...

— ...об этих толстых тетках...

— Да. Об их жопах в особенности.

— Иди ты сам в жопу...

Я пожал плечами. Я сделал вид, что обиделся.

— Ну, хорошо, — в Аннушкином голосе послышались примирительные нотки, — Пусть даже я тебе поверила... но это ужасно!..

— Почему же ужасно?

— Ужасно, ужасно...

— Ничего не ужасно... почему ты так думаешь?..

— Потому, что я представила себе... (Она посмотрела куда-то в сторону) Представила себе блин, изготовленный с *твоей* помощью. Такой, волосатый и прыщавый...

— Откуда ты-то знаешь?.. зато твой будет гладким, как шелк... без единого пупырышка...

Аннушка сощурила глазки и покачала головой как бы в вынужденном согласии:

— Ну, да... ты ведь видел уже... конечно...

Я, понятное дело, тут же ощутил прилив гордости невероятной от того, что *видел уже*, но виду, однако, не подал и, словно бы пропустив мимо ушей последнюю реплику, решительно закинул в рот последний бесформенный кусочек из моей тарелки:

— Скажи лучше, куда теперь почешем?.. а то тут скоро закроют на фиг...

Действительно, кризис осмысленности времяпрепровождения надвигался на нас с пугающей неотвратимостью. Надо было что-то придумать. Отодвинувшись от стола, Аннушка окинула долгим взглядом раздаточную стойку, томившихся за ней подавальщиц, начинавших потихоньку убирать в холодильник квадратные фаянсовые мисочки с не съеденными за день порциями какого-нибудь салата рыбного или яйца под майонезом (называемого в нашей среде «корридой» вслед за известным похабным анекдотом), затем повернулась ко мне вновь и, заглянув в мои очи каким-то донельзя ласковым и при этом — слегка блудливым взглядом, уверенно произнесла:

— Я знаю. Куда.

В первый момент я даже не понял, о чем это она.

— Что куда?

— Знаю, куда пойти. Нам. Сейчас.

Я прекратил жевать.

— Ну и куда же, по-твоему?

Хотелось почему-то услышать какую-нибудь несусветную чушь — и, услышав, обрушиться на нее во всю мощь своей иронии...

— К Хрюнделю.

Глоток «кофе с мол.» застрял у меня в горле.

— Чего-о?

Мне показалось, что я ослышался.

— Пойдем к Хрюнделю. Прямо сейчас, ну да. К Хрюнделю домой. Он живет в самом конце Либкнехта — там, за библиотекой, я знаю, где дом...

Застрявший глоток провалился, наконец, на дно пищевода. Кое-как овладев своим изумлением, я все же сподобился выдать на-гора что-то, мало-мальски членораздельное:

— А? Да ты с дуба рухнула, не иначе! Он же меня в порошок сотрет тогда... после сегодняшнего... ты что!..

Аннушка в ответ лишь энергично замотала головой:

— Не сотрет. Нет...

— Почему?

— Потому...

— Нет, скажи, почему?

— Потому, потому. Потому, что.

— ??

— ...потому, что ты *попросишь у него прощения!*..

— Ты спятила, моя Офелия!.. Этого не будет никогда, потому, что никогда не будет. Я не буду просить прощения, а он никогда меня не простит!

— Простит.

— Нет. Не простит. Нет. Напрасны старания.

— Дурачок.

— Сама такое слово нехорошее...

— Нет, правда: тебе же говорят, простит. А ты уперся! Какой ты все-таки ослик у меня! Просто даже обидно, ей-богу, делается, когда смотришь как ты мучаешься... сам себе вырыл жопу и сам в ней мучаешься... сидишь и мучаешься... как мазохист!..

Я сидел, хмуро уставившись на собственные руки. Черные кошки робости скребли мою душу. Хотелось совершить что-нибудь, сделать какое-нибудь резкое движение, высказать довод убийственный и неопровержимый. Но ничего конкретного в голову все не приходило и не приходило — несмотря на поиски, едва ли не панические.

— Знаешь, это *ты* меня мазохистом сделать пытаешься... ей-богу... и вообще, отвалила бы со своим Хрюнделем — правда, делать больше мне нечего, как только извиняться перед всякими, там,...

Собственные слова взбудрили меня. Отлившееся в подобие праведного гнева раздражение, кажется, придало мне толику чаемого куража — я принялся размахивать руками, едва обращая внимание на замолчавшую подругу:

— ...Вот же пристала! Сказал ведь: не пойду я, как дурак, к вашему Хрюнделю извиняться. Не пойду я к нему, не пойду, и точка!.. Нашла идиота, как же!..

.....

7.

Кажется, начинало смеркаться, когда мы оказались, наконец, рядом с искомым домом номер восемнадцать по улице К. Либкнехта — заурядной белоштукатурной мазанкой, впаиванной в нескончаемый, простиравшийся во всю длину улицы, темно-зеленый глухой забор. В домах: и в восемнадцатом, и в прочих — уже горели огни, и подступающая ночь придавала этим огням всегдашнюю способность порождать мысли об отдыхе и тепле — о каких-нибудь безмятежных людях, погруженных в стоячую негу домашнего уюта, о добрых людях, изъясняющихся друг с другом немногословными фразами с интонационным смягчением на конце, о вкусе сладкого чая или о тиканье настоящих стенных часов с маятником и кукушкой — короче, о той скромной благодати, что как-то незаметно исчезла навсегда из нашей жизни и чьим невнятным символом, наверное, останется горшок с разлапистой бабушкиной геранью, облюбовавшей наш крашеный подоконник еще в тот год, когда дедушка вернулся с войны живым и здоровым...

...Послушная Аннушкиной руке калитка подалась вовнутрь, пропустив нас в узкий, увитый виноградной лозой, проход, кончавшийся прообразом крыльца — еле ощутимой ступенькой вверх. Дальше была входная дверь и примыкающее к ней квадратное оконце, свет в котором загорелся тотчас же, едва я оторвал палец от кнопки звонка. Еще пару мгновений спустя мы услышали, как с той стороны проворачивают ключ, затем дверь открылась на две трети, выпустив наружу обильный пар электрического света, и в этом слезящем глаза сиянии я сумел различить, однако, знакомый коренастый силуэт.

— Кто здесь?

Первой вышла из темноты, разумеется, Аннушка:

— Это мы, Арсений Евгеньевич... К вам можно?..

Я тоже шагнул вперед, однако Хрюндель словно бы меня не заметил:

— Элланская?.. Заходи, Аня, заходи...

Он посторонился, давая Аннушке проход, и, одновременно с этим, взглянул на меня словно бы с искренним удивлением:

— ...да ты не одна, как я вижу...

По всему, настал мой черед действовать. Я сделал еще один шаг и, решительно растоптав последние лилии самолюбия, произнес чаемое:

— Я пришел просить извинения, Арсений Евгеньевич... я, значит, был неправ абсолютно... вот... и прошу прощения сейчас...

К моему удивлению, смотреть при этом Хрюнделю в глаза было не так уж и трудно. Я словно бы опять поймал какую-то волну — ощутил от собственного раскаяния даже определенную сладость: как будто бы всё вокруг меня, абсолютно всё, наполнилось единой атмосферой ликующего покаяния и всепрощения. И в этой атмосфере я лишь делаю то, что все давно уже ждут от меня и готовы принять с радостным и тихим одобрением. Я чувствовал, как горит мое лицо, как в местах соприкосновения век зарождается нечто, похожее на слезы. Хотелось почему-то стать прозрачным и при этом податливым, как пластилин. Мне даже в голову не могло прийти теперь, чтобы Хрюндель не внял прозвучавшим извинениям — похоже, давеча, в блинной Аннушка и в самом деле была права на сей счет — и, с известной неохотой признав эту ее правоту, я нетерпеливо ждал сейчас ответа, продолжая смотреть на Хрюнделя смело и даже как-то ласково, что ли.

Впрочем, сам Хрюндель, похоже, испытывал замешательство, моего не меньше. Он как-то набух весь, правая бровь его взлетела вверх мохнатой дугой да так и замерла в этом странном положении. Еще чуть погодя беззвучно зашевелились губы, после чего мы услышали, наконец, негромкое:

— ...и что ж мне делать с тобой прикажешь?.. а, Водолеев?..

Я пожал плечами.

— Ладно. — Хрюндель вздохнул, наконец, с усмешкой, — Повинную голову, как на Руси известно... ну, да чего уж теперь... ладно, так ладно...

Он посмотрел на меня с некоторым любопытством даже:

— А понимаешь ли ты, Водолеев... понимаешь ли, что коли уж надумал ты просить извинения... то не так это вообще делают?..

— Почему? — только и нашелся я выдавить из себя.

— Значит, не понимаешь?

Я потупил взор.

— Ну, ведь я *искренне*, Арсений Евгеньевич... я подумал... и вот пришел... как по-другому?

Хрюндель усмехнулся вновь.

— Как по-другому? По-другому — точно так же, как ты нагрубил. Публично. Перед классом. А не здесь, в досадных потемках, правильно ведь?

Почва начала потихоньку уходить из-под моих ног. От благостного самоуничтожения не осталось теперь и следа — я с удовольствием растаял бы сейчас в воздухе, как Чеширский кот.

Ситуацию разрядил, однако, сам Хрюндель. Так и не услышав моего ответа, он словно бы пошел на попятную, что ли. Или — скорее даже — просто устал ждать, когда я преодолею свое замешательство, этим самым замешательством, в свою очередь, вполне удовлетворив жажду мести, если даже последняя и присутствовала в той или иной степени.

— Ладно, дети... Как ни кинь — а негоже нам в дверях разговаривать... на эти, чертовски серьезные темы, да...

Он отступил вглубь дома.

— Лучше вот что... проходите-ка внутрь... гостями будете!.. в ногах, и в самом деле, правды нет никогда...

Мы вошли — сперва Аннушка, затем я. Жестом руки Хрюндель направил нас в залу, после чего запер дверь на ключ, поместив нас тем самым сугубо внутрь своей бытовой герметичности. Среди атаковавшего тут же ноздри сонмища обычных для обитаемого места запахов — букета вполне заурядного и одновременно неповторимого, как отпечатки пальцев, — я смог явственно различить одну весьма неожиданную мелодию: ртутный аромат какого-то крепкого алкоголя — причем именно благородной, фабричной выделки, а не популярного в наших местах сливового самогона, с великодушной избыточностью производимого по осени едва ли не в каждом уважающем себя хозяйстве.

Интерьер жилища нашего учителя истории ничем, по сути, не отличался от прочих подобных. Те же выцветшие обои, те же черно-белые фотографии на стенах, в массивной раме — тот же пейзаж Шишкина с грунтовой сельской дорогой, сворачивающей куда-то вправо посреди спелой пшеницы. И тот же ковер с угловатыми оленями возле дивана...

Пожалуй, единственной своеобразной деталью здесь были высокие книжные стеллажи массивного темного дерева, заполненные плотно и доверху. Собственно, обилие книг в домах в те годы даже в нашем захолустье не являлось таким уж дивом дивным: распространенное заблуждение относило данные предметы к разряду вещей престижных и, как следствие, высоколиквидных. А значит — удобных для вложения капитала наряду с золотыми зубными коронками и посудой из чешского хрусталя. В наших краях предпочтение, впику столицам, отдавалось, конечно же, золотым коронкам — но и владельцев книг тоже было немало. Гордых хозяев румынских шкафов с застекленными дверцами, из-за которых чинно выглядывало какое-нибудь двухсоттомье подписной «Библиотеки Всемирной Литературы» либо полное собрание сочинений Луи Арагона, ни разу так никем и не открытое.

Так вот, библиотека Хрюнделя выглядела ощутимо иначе — мой глаз ощутил это практически сразу, хотя и не понял, в чем состоит дело. Что-то было по-другому: цвета ли книжных корешков, необычно однообразные, различавшиеся лишь трудночитаемым тиснением, выдававшим порой витиеватую псевдоготику латиницы, или, может быть, принципиальная доступность любого фолианта, — включая томившихся под самым потолком уже, — их полагалось снимать с помощью прислоненной к стене складной стремянки. Короче говоря, это была *рабочая*, а не *обывательская* библиотека — первая из многих, встреченных мною за жизнь.

Мы расселись в низкие, не слишком удобные кресла рядом с продолговатым журнальным столиком. Сложив руки в замок у себя на коленях, Хрюндель какое-то время разглядывал нас, едва заметно покачивая головой. Затем улыбнулся. Не так, как прежде — полупрезрительно, а по-настоящему, вполне доброй улыбкой. Разом стало как-то легче, и я не мог не улыбнуться в ответ.

— Ну, что ж, дети... Забудем прошлое! Точнее говоря, я, как историк, должен бы сказать — забудем недавнее прошлое... ради несколько более отдаленного...

Мы, ничего не поняв, в ответ издали какие-то не слишком членораздельные звуки, по-видимому, означающие всестороннее согласие с услышанным.

— ...надеюсь, о смысле Яско-Кишиневской операции вы имели возможность побеседовать вволю и едва ли теперь нуждаетесь в моих консультациях по этому вопросу... так что поговорим о чем-нибудь менее пафосном... вот, скажите-ка мне, к примеру — вы ужинали уже или пока нет?

— Ужинали...

— Ужинали, Арсений Евгеньевич, да...

— Ну, вот и славно... стало быть, затевать пище-варение нет необходимости... в таком случае, я, пожалуй, угощу вас одной безделицей... по-простому...

Он слегка привстал, повернув голову в сторону кухни:

— Аня... не сочти за труд... там в шифоньере... ты знаешь... бутылочка... и заодно со стола прихвати тарелку металлическую... хорошо?..

Аннушка тут же поднялась и вышла. Минуту спустя она вернулась, держа в левой руке полупустую коньячную бутылку, а в правой — накрытое салфеткой десертное блюдо. Хрюндель также поднялся со своего места и, шагнув куда-то в угол, туда, где сплошной книжный фасад прерывался островком нескольких запираемых на ключ полок, в следующий миг уже возвратился на свое место, держа в руках рюмки.

— Ну, дети... коли завуч узнает, что я вас спаиваю, — заставят сказать «адью» нашей чудесной школе... оно, как и многое прочее подобное, не смертельно, конечно же, но все-таки... ну, да, надеюсь, вы меня и не выдадите!..

Сняв салфетку с блюда (там оказались орехи — миндаль пополам с грецкими), он осторожно разлил коньяк по рюмкам — вышло грамм по сорок, не более того.

— Угощайтесь, дети... это «Энисели», грузинский... прямо с завода... приятель давний был проездом — презентовал вот...

Мы потянулись несмело за рюмками. Коньяк я пил второй или даже первый раз в жизни — жгучий бескомпромиссный вкус молниеносно покорила гортань, небо, чуть задержался в пищеводе и уже после остался лишь волнистой кромкой на краю языка. Я тут же поспешил заесть орешком.

— Ну, вот, дети... считаем, что выпили за ваши лучезарные перспективы... каковые неизбежны... хочется верить...

Хрюндель как-то заметно оживился, что ли, — куда-то делась прежняя его царственная медлительность, он словно бы стал меньше ростом даже. Лишь много позже, вороша макулатуру воспоминаний, я понял, что выпитая с нами рюмка коньяка была у Хрюнделя отнюдь не первой за тот вечер.

— Стало быть, перспективы... ваши, Водолеев, как я наслышан, лежат на ниве журналистики, не так ли?

Я кивнул немного смущенно:

— Да... я как бы... собираюсь поступать... в МГУ...

Хрюндель чуть сморщил нос и покачал головой:

— Не... не про то я... вас вопрошаю... нет... не про то, не про то... куда поступать, как поступать — это, наконец, дело техники... подготовки, знакомств, стечения обстоятельств, денег даже — в общем, скучных и недостойных обсуждения материй... я про другое, совсем про другое... хочу у вас полюбопытствовать...

— ?

— ...меня, в конце концов, больше интересуют ваши взгляды на вещи основного порядка... ваши дальнейшие намерения... в свете этого... (найдя, как ему казалось, наконец, правильные слова, он заглянул поочередно нам в глаза — сперва мне, а уж затем Аннушке) в общем, то, как вы из сегодняшнего дня оцениваете собственное предназначение, что ли... место, которое вам надлежит занять во Вселенной...

Я в принципе понял, что речь идет не о карьере. О большем же я едва ли задумывался прежде, однако коньячные капли в мозгу побуждали спорить — спорить во что бы то ни стало!

— Так ведь... все ж определено, Арсений Евгеньевич!.. вы ж сами учите... про объективные закономерности исторических процессов...

— И что же?

— Ну, как же... когда исчезают классовые противоречия... остается только... только пятилетний план... в свете решений двадцать пятого съезда партии...

Хрюндель нахмурился вновь.

— И что же, молодой человек, вы всерьез полагаете, что раньше было радикально по-другому?

Я тут же согласно кивнул:

— Ну, да... а как же иначе... и в книгах так написано ведь... прежде люди могли не понимать движущих сил исторического процесса... и от этого зависело... многое...

— Что же многое?

— Да. В одном случае он оказывался на этой стороне, в другом — на той. Возникла борьба. И прогресс побеждал. В конечном счете.

Я заметил, что Хрюндель едва подавил в себе усмешку. Он откинулся на спинку своего кресла, сложил на груди руки и опустил подбородок, словно бы собираясь с мыслями. Затем вновь поднял на нас глаза:

— Вы, стало быть, Водолеев, всерьез считаете, что действия человека в историческом времени определяются степенью его понимания природы исторического прогресса?

Слова упали в мой мозг книжным недоразгаданным кроссвордом. Миг, от силы — два я силясь понять их значение, затем капитулировал и тотчас поспешил согласиться:

— Конечно. Именно так. Вот, Петр Первый, допустим. Он понял, что надо делать, — и вывел страну из тьмы феодализма. А до него не понимали... Хотя тоже могли, наверное... Такие же ведь цари были, как и он...

В ответ Хрюндель усмехнулся уже в открытую. Мы с Аннушкой затихли, вперившись в него взглядами — даже нам стало ясно, что последний его вопрос имел единственной своей целью спровоцировать следом что-то более пространное и содержательное, нежели обычная реплика застольного диалога. Мы принялись ждать, и наше ожидание, само собой, не было долгим.

— Петр Первый, говоришь... — Хрюндель налил себе еще коньяку, залпом, по-водочному опрокинул рюмку, затем поднялся со своего места и зашагал по комнате. Около книжных полок он остановился, прочесал их взглядом, словно бы в поисках нужного тома, но, как видно, передумал либо не нашел того, что искал. Затем он вновь повернулся к нам.

— Видите ли, дорогие мои... не всё на свете можно вложить в ваши курчавые головы... сейчас, во всяком случае... именно этим руководствуются авторы учебников и методик...

Бесовские лукавые огонечки в глазах у Хрюнделя сменили прежний блеклый свет усталой мудрости. Он теперь глядел на нас, как на заговорщиков, сообщников в чем-то запретном и вместе с тем веселом.

— ...к тому же, всегдашний дефицит времени довершает все прочее... в итоге, вы имеете историю Человечества, начисто лишенную этого самого Человечества... точнее — людей... живых иррациональных людей, с их чувствами, страхами, ошибками и так далее... и тот же Петр Первый благодаря этому видится вам каким-то Медным Всадником, вершащим судьбы России по заранее продуманному плану... А, между тем, нет ничего более далекого от исторической истины, чем подобный образ этого сотканного из противоречий человека... про которого, ей-богу, сказать что-либо определенное — значит сказать заведомую неправду...

8.

Каким он был? Что чувствовал? Что говорил себе в редкие минуты одиночества? Чем успокаивал свои тревоги? О чем мечтал? Мы никогда не узнаем об этом толком — мы можем лишь строить догадки сегодня, предполагать, основываясь на случайных словах или разрозненных фактах, лишенных мяса подробностей. Перед нами лживое сладкоречье документов да

клочки частной переписки, которой мы почему-то склонны доверять более, нежели письмам наших собственных современников.

Был ли он, к примеру, смел? Этот предельно осторожный военачальник, не доверявший собственным войскам и генералам — избегавший крупных сражений, сколь только можно. Построивший флот и выигравший войну на море, однако ни разу не позволивший своему флоту сойтись с вражеским в линии баталии. (Несколько успешных атак посаженной на лодки пехоты на шведские фрегаты да пленение шестью кораблями Наума Синявина одного шведского у Эзельской банки — явно не в счет.) И вот, несмотря на все это, достоверно зафиксировано с полдюжины — не менее того — ситуаций, когда царь очевидным образом рисковал жизнью, — порою, один бог знает, каким соображениям при этом следуя! Так было при осмотре какой-то голландской мельницы в 1697 году, когда любопытство едва не затянуло Петра промеж жерновов. Так было и 7 мая 1703 года, когда он лично возглавил абордажную партию, захватившую в невском предрассветном тумане шведские галиоты «Гедан» и «Астрильд». Так было и в день Полтавы, когда царь вел в атаку батальон Новгородского полка. И ведь едва ли он слишком уж тщательно хранил себя от пуль при осадах Азова, Нотебурга или прибалтийских крепостей — с его-то темпераментом! А кроме того, случалось царю-моряку и попадать в жестокие шторма, недвусмысленно грозившие самыми серьезными последствиями...

Любой из таких дней мог стать последним в жизни Петра, однако не стал — царь прожил пятьдесят два года. Дольше, чем его «Тишайший» отец или не любивший покидать столицу дед. Впрочем, сам он, без сомнения, собирался пожить еще — более того, нам сейчас понятно даже *еще сколько*. Так, примерно за год до смерти царя некий иностранец был рутинным образом привлечен к ответственности за неудачно произнесенную здравицу, в которой пожелал Петру *всего лишь* трех лет жизни. Стали разбираться. Иностранец оправдывался, утверждая, что его не расслышали — он-де желал царю не три, а целых десять лет! И эта версия будто бы всех устроила, — вернее, устроила самого Петра, считавшего, как видно, шестидесятилетний возраст вполне достойным для завершения земных дел. Несчастливого немца отпустили.

И ведь правда — немногие из правителей старой России доживали до шестидесяти: Александр II Освободитель, Екатерина Великая да Иван III Великий — вот и все, собственно. Все трое — успешные реформаторы, западники. Как бы естественное место в их ряду — «в том строю промежутков малый» — для Петра. Чувствовал он это, что ли? Стоит оттолкнуться от такой мистической арифметики — и совсем тогда особые, странные размышления возникают по прочтении Василия Осиповича Ключевского, полагавшего, что смерть застала Петра на полдороге задуманных им реформ, конечным пунктом которых должно было стать разрушение зафиксированной в Уложении 1649 года сословной структуры русского общества. Структуры громоздкой, избыточной и жесткой, сковывавшей любые порывы к социальной модернизации. По мнению великого историка, Петр успел максимально упростить сословную картину — фактически сведя один ряд сословных групп к унифицированному понятию «служашие», тогда как другой — к понятию «крепостные». А заодно просверлил в межсословных перегородках несколько не слишком бросающихся в глаза, но от того не терявших привлекательности отверстий: через Табель о рангах, через Указ о горной свободе, через законодательные меры по поддержке промышленности, и так далее. Структура общества стала управляемой, и, наверное, можно было бы начать процесс эмансипации — но 28 января 1725 года, ровно год спустя, кстати сказать, после опубликования Указа об основании Академии наук, Петра Алексеевича не стало...

А может, и не было у Петра таких замыслов? И не собирался он никого эмансипировать — другие вещи увлекали его, другие планы строились?.. Как знать!

Но все-таки — было ли этому человеку сродни чувство страха как таковое? Страх, парализующего волю, подминающего под себя все помыслы и намерения? Страх, который нельзя скрыть от окружающих, как ни старайся? Полагаю, что да. Было, конечно, и достаточно при-

меров тому мы знаем. Однако в оправдание великого реформатора скажу, что этот страх его был весьма особого, нечастого среди людей сорта — не страх столкновения, боя, не страх ответственности, а своего рода гнетущая, обезоруживающая *боязнь пустого ожидания*, боязнь бездействия, боязнь пассивной участи наблюдателя. Именно ей мы обязаны и паническим бегством из Измайлова в Троице-Сергиев монастырь в ночь с 7 на 8 августа 1689 года, и отраженным в целом ряде мемуаров нервным срывом самых трудных, наверное, дней его жизни — 10 и 11 июля 1711 года — в окруженном турками русском лагере на реке Прут. Проявивший чудеса личного бесстрашия в имевшем место накануне кровопролитном сражении царь едва не сломался, ожидая в безопасной праздности результаты переговоров, которые вел с турецким визирем искусный Шафиров.

Можно лишь гадать о том, как утвердилось в нем это чувство. Ясно, впрочем, что сильнейшее детское впечатление — бунт 15—16 мая 1682 года, когда разъяренные стрельцы прямо на его глазах растерзали дюжину родственников и приближенных матери, — сыграло в этом незаурядную роль. Десятилетний мальчик впервые в своей жизни столкнулся с силой неуправляемой и опасной. Можно даже сказать — неуправляемой и потому опасной. Прошло совсем немного времени — и это первое чувство отлилось в сознании молодого царя едва ли не императивом: *все, что неуправляемо, нерегулярно в своей основе, непонятно, — опасно. Опасно для жизни*. Опасен народный бунт. Опасны древние хитросплетения боярских родовых счетов. Опасен хаос деревянной московской застройки.

И всякий раз, когда он говорил себе это, — звериные рожи пьяных московских стрельцов вставали у него перед глазами...

Затем было тягостное семилетие ожидания — отрочество, юность, учение, жизнь в стороне от государственной машины, находившейся всецело в чуждых, враждебных руках. Заключавшей мир, начинавшей войны — жившей своей собственной, не слишком понятной жизнью, но способной, как ему казалось, на неожиданный предательский удар. Именно этот семилетний груз потенциальной опасности и заставил Петра, едва одевшись, вскочить на коня беспокойной августовской ночью 1689 года...

.....
.....
.....
.....
.....

Умер он в жесточайших мучениях, неизбежных для тогдашнего урологического больного. Истерзанный докторами и обыкновенной для возлюбленного его «Парадиза» свинцово-бесконечной зимней промозглостью, змеями многочисленных сквозняков проникающей в наспех построенный для него дворец.

Отравленное миазмами отказавших почек тело предало его так же, как предавали его за долгие десятилетия правления многие другие тела, десятки тел, сотни, тысячи, — и так же, как эти тела, его тело сегодня достойно было смерти. Тело предало Петра — но, увы, даже это предательство оказалось не последним в его непоседливой и беспокойной жизни: вместе с непокорным телом неожиданно оставил угасающего царя и дух!

Покинула та самая, волшебная, не имеющая объяснения сила, что прежде услужливо сопрягала всякий раз с неутомимостью его воли фантазию порожденного им замысла, барочным завитком просвещенной мысли устранив противоречия и подсказывая решения. Теперь — иначе. Теперь все разъяслось, все стало раздельно — и в размягченный предсмертным воспалением мозг непрощеными гостями вторгались неподвластные субстанции — сомнения.

Сомнения... Они подступали все чаще, все обстоятельнее — и в эти минуты умирающему Петру виделась какая-то черная злая *иррегулярность*, наползающая на него из всех

углов, опрокидывающая на своем пути с таким трудом установленные им порядки и регламенты, обрушивающая столь дорогой ценой возведенное здание просвещенной государственности... В этом была какая-то... несправедливость, что ли: словно бы противник, не имевший успеха в открытом бою, напал на него со спины или во сне... Словно бы каким-то запрещенным способом вложил противник этот немошь и страдание в его тело — впрочем, не лишив пока еще прежней способности к непосредственному, тактильному, через поры кожи, ощупыванию действительности.

Да, это старое верное чувство все еще было с ним, оно по-прежнему не обманывало — но сейчас оно говорило ему лишь правду бесполезную и безутешную: все было кончено, все пришло в свой исходный ноль, отныне пространство вокруг, послушное доселе щечку ногтя по венецианской полированной столешнице, не управляется им больше. Не управляется его приказами, не управляется его людьми — не управляется, должно быть, *никем вообще*. Все ввергается в неминуемый хаос, становится адом, пламенем, ветром...

И если так, — что значат жертвы, которые он приносил и заставлял приносить других все эти годы? Выходит — лишь грех и только... грех пустой, не имеющий оправдания... страшный грех неискупимый...

Но помыслы, помыслы-то были добрыми, усилия — самоотверженными, таланты не зарывались в землю, — почему же так сложилось все? В чем объяснение, где грань? Чего не хватало в построенном им здании?.. Наследник?.. Он думал о наследнике... Он принимался думать об этом многократно, и всякий же раз мысль его путалась, раскалываясь бессвязной россыпью картин — непонятных и беззвучных — мучительных образов, из которых самым частым и продолжительным, вновь повторяющимся от раза к разу, было видение бледного, измученного пыткой лица нелюбимого его сына. Нечеловеческое смятение было на том лице — взгляд его скакал, напрягая орбиты и не находя успокоения, сухие напряженные губы будто бы силились выдавить из себя что-то, помимо нечленораздельных стонов, какие-то угловатые слова — и вот сейчас Петр вслушивался жадно в эти не произнесенные тогда звуки так, словно бы в них и в самом деле содержалась некая отгадка, вожаденный ключ, — то, чем он столь легкомысленно пренебрегал прежде и без чего, как оказалось, никак не мог сейчас, в свои трудные минуты смерти. Что знал тогда этот измученный усердными сподручниками Толстого, молодой человек? Что не сказал им, невзирая на муки, но, возможно, открыл бы отцу — соблаговоли тот посетить его в сыром Петропавловском каземате? И почему это важно, важно сейчас, здесь, на перегретых простынях последней его болезни?

Хотелось ухватиться за что-нибудь — хотя бы даже и за эту мучительную и неверную память — зацепиться за нее якорем мысли, нервом душевного страдания. Зацепиться — и не отпускать. Не отпускать ни за что, противясь смерти в ее обыденной черной работе — в ее тягостном старании оторвать душу от привязанностей жизни. Было страшно...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.